

Советский писатель
Москва
1961

Новая повесть В. Ковалевского является второй частью дилогии о Зое Космодемьянской. Первая часть, повесть «Брат и сестра», в которой описаны школьные годы Зои и Шуры Космодемьянских, получила высокую оценку в советской и зарубежной прессе.

Повесть «Не бойся смерти!» посвящена деятельности Зои в суровые годы Великой Отечественной войны, в ней рассказано о жизни Зои от первого дня войны и до ее бессмертного подвига.

В книге изображен партизанский отряд, состоявший из московских комсомольцев, воссоздана атмосфера боевого товарищества. В выразительных образах юных партизан — юношей и девушек — показана беззаветная преданность долгу, готовность отдавать жизнь во имя победы и торжества родины.

Страницы, содержащие подробности, ранее неизвестные, о подвиге и гибели Зои Космодемьянской, глубоко волнуют читателя.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Мать Зои ничего еще не подозревала о случившемся. На сегодня были назначены экзамены в военном училище, где она преподавала русский язык. Курсанты почему-то не явились на экзамены. Это ее удивило, и только. Пользуясь возможностью подышать свежим воздухом, пошла домой пешком. Она была погружена в свои мысли о ежедневных обычных заботах, мало обращала внимания на встречных людей, не видела, что у многих из них написано было на лицах и о чем так тревожно перекидывались словами некоторые из них у подъездов домов и на перекрестках улиц и переулков.

В полном неведении дошла она до самого порога своей комнаты. Когда Зоя вскрикнула: «Мамочка!» и, кинувшись к ней, обхватила ее обеими руками, по-детски прижавшись к ее груди, точно птенец в гнезде ища под крылом защиты, — только здесь Любовь Тимофеевну вдруг пронзила ошеломляющая догадка. И сразу стало понятно, почему отменены экзамены у военных курсантов и почему такие глаза у Зои... А Зоя говорила:

— Мамочка, война! Война! Без предупреждения. Подло! Открыли огонь, перешли

границу!..

Потом замолчала. Обе молчали. Они так тесно прижались друг к другу, что удары в груди от толчков их крови сливались в единый звук, точно у них на двоих было одно общее, огромное сердце.

В эту минуту в комнату ворвался Шура. С азартом шестнадцатилетнего мальчишки, для которого важнее всяких истин прежде всего взять верх и доказать свою правоту, он крикнул:

— Ну, кто же оказался прав?! Я говорил, что Гитлер подложит свинью? Вот мы и поехали по матушке по Волге!..

Ему самому стало стыдно от своего изречения, и, чтобы замять неловкость, он проговорил неуверенно, чувствуя, что у него опять получается что-то нескладное:

— Теперь мы посмотрим, кто из нас окажется старше!

Дело в том, что он уже успел встретиться с Петей Симоновым, с Димочкой Кутыриным и с Ярославом Хромовым. Между ними решено было бесповоротно: все четверо идут на войну добровольцами. Друг перед другом они поклялись: родным пока ничего не говорить.

2

Зоя побежала в школу — хотелось видеть товарищей. По пути заглянула к Ирине. Неудачно: у Ирины на дверях замок. В школе тоже почти пусто: забежали на короткий срок лишь немногие ребята из средних и старших классов. Ведь уже наступили каникулы.

Зоя поймала себя на мысли: очень хотелось бы увидеть Ярослава. И тут же подумала: «А что я у него спрошу, если удастся его увидеть? Просто спрошу: «Ярослав, что ты собираешься делать?»»

В это время в вестибюле школы появился Виктор Терпачев, он торопливо окликнул Зою:

— Космодемьянская, не видала Люсю?

Зоя, ничего ему не ответив, сама спросила:

— Что ты теперь будешь делать, Виктор?

— Пока что иду гонять шарики, иду играть в бильярд! — почему-то зло ответил

Терпачев. Он хотел было пройти дальше, но, сам почувствовав какую-то двусмысленность в своей фразе, приостановился и сказал: — Что ты от меня хочешь? Мой возраст не призывной. Что же я должен делать? Буду ждать. Теперь вам все ясно, товарищ комсорг? В таком случае пока!

Терпачев сделал ручкой «прощай», круто повернулся и побежал из школы.

Директор и Язев ушли в райком за инструкциями. Ни одного из своих преподавателей

Зоя в школе не встретила. Нестерпимо было оставаться одной. Она приоткрыла дверь в класс — до чего же голо сейчас в нем... Зоя не отдавала себе отчета в том, что с ней сейчас происходит, но почему-то ей не захотелось переступить порог своего класса, когда в нем нет ни души.

Из окна коридора она увидела там, внизу, на тротуаре перед школой, как мелькнул прямой пробор Лизы Пчельниковой. Зоя нетерпеливо бросилась вниз по лестнице, выскочила на улицу и сразу же спросила Лизу:

— Ты не видела Хромова?

— А что, разве что-нибудь случилось с Ярославом?

Они обе посмотрели друг другу в глаза, и почему-то обе очень смутились Немного помолчав, Зоя сказала:

— Ужасно, что все это произошло как раз на каникулах. Как хорошо было, когда мы каждый день встречались все вместе, а теперь все рассыпались по своим углам. Тоска какая-то, честное слово! Нам бы собраться всем вместе опять. Надо что-то делать, нельзя же просто так существовать, когда случился такой ужас...

— Пошли в райком комсомола!

Лиза и Зоя сказали это в один голос. Зоя взяла Лизу под руку, и они пошли.

Возле райкома всюду, где только можно было приткнуться, сидели комсомольцы: на скамейках, на тумбочках, на загородках вокруг газонов, на карнизах окон. В коридорах самого здания тоже полно было школьной молодежи. Все чего-то ждали, и у всех — одинаково и у девушек и у юношей — легко было читать на лице разочарование и горечь обиды. Но надежду потеряли еще не все. Говорили негромко, и все чего-то ждали, хотя давно уже им всем и каждому в отдельности было здесь сказано, что первый и самый высший их долг перед родиной — закончить школу, то есть терпеливо ждать начала учебных занятий, ждать осени, а если они понадобятся, то их найдут и позовут.

Обидно было то, что с более старшими разговаривали где-то отдельно, составляли списки и выделяли какие-то группы. Прошел слух, будто среди мальчиков, окончивших школу в этом году, отбирают желающих идти добровольцами в разведчики, а из девочек комплектуют санитарные дружины.

Получалось так, словно десятиклассники просто еще не доросли, еще малы. Обидно. Лиза и Зоя пошли обратно в школу. На полпути им встретила Ирина. Оказывается, она уже давно разыскивала Зою. Она еще издали крикнула так, что прохожие стали смотреть на нее:

— Ой, Зойка, какие же дуры мы были с тобой! Почему мы не занимались на санитарных курсах?! Подумай, ведь мы уже давно могли быть санитарными сестрами.

— Я знаю, где находятся курсы, — сказала Лиза Пчельникова. — Пошли, девочки!

И еще долго в этот день Зоя, Ирина и Лиза не расставались, бродили втроем, на что-то

надеялись. Они побывали в районном отделении Красного Креста, заходили в поликлинику, побывали даже в больнице, потом, когда и здесь ничего не получилось, отправились в соседний район и там повторили тот же круг: побывали на курсах медицинских сестер, в поликлинике и в больнице, но всюду получалось одно и то же: ждите, если надо будет, вас позовут. Одним словом, они еще школьницы, они еще маленькие. Обидно.

Прошло всего только несколько часов, как началась война, миновали всего только сутки, ну, двое суток, а Зое казалось, что прошло уже очень много времени. Нельзя медлить, надо же все-таки определить себя к какому-то делу... Сводки с фронта становились все тревожнее и мрачнее:

«...за 22-е, 23-е и 24-е июня советская авиация потеряла 374 самолета, подбитых главным образом на аэродромах».

Зоя поразило такое сообщение Совинформбюро:

«Немцы спускают по 5-10 парашютистов-диверсантов в форме советских милиционеров для порчи связи. В тылу наших армий созданы истребительные батальоны по уничтожению диверсантов-парашютистов. Руководство истребительными батальонами возложено на НКВД».

«Какая подлость! — думала Зоя. — Идет по проселочной дороге человек в форме милиционера, а может быть, это вовсе и не милиционер, а переодетый враг? Какая вероломная низость и какая смертельная опасность! Значит, враг может проникнуть повсюду, и дело не только в том, что он может разрушить бомбой твоё жилище... Надо что-то делать, нельзя сидеть сложа руки».

Попробовала говорить с братом, но Шура тоже ходит какой-то кислый. Куда девались его говорливость, где его афоризмы?

Зоя не знала, какой ценой брату удастся заставить себя молчать. Ой, как хотелось пожаловаться, рассказать Зое о том, что из стремления идти на фронт добровольцами ничего не вышло. Сколько они с Петей и Димочкой побывали порогов, всюду ответ один и тот же: «Учитесь! Когда надо будет, вас позовут!»

Шура молчал. Клятва есть клятва — никто из троих не проговорился.

3

Через несколько дней настроение у Зои резко изменилось, не оставалось и следа от ощущения своей беспомощности и того, что будто бы ты никому не нужна.

Оказывается, все уже давно было предусмотрено, и в каждом районе кому следует было известно, что именно надо делать, если начнется война. Ведь не напрасно же в мирное время было столько кружков по противовоздушной обороне, изучались всякого

рода инструкции, наставления и не один раз тренировались на практике: что надо делать во время воздушных налетов, как защитить население и самого себя, если враг начнет применять ядовитые газы.

Не был забыт и дом № 7 по Старопетровскому проезду. Районное жилищное управление по этому дому назначило своим уполномоченным старую партизанку Александру Александровну на все время, пока длится война. Уполномоченный должен отвечать за все: обеспечен ли дом противопожарными средствами, соблюдают ли жильцы после захода солнца правила светомаскировки, организованы ли ночные дежурства и есть ли где укрыться людям во время воздушных налетов врага. Как только Зоя узнала об этом, она больше уже почти не отходила от старой партизанки. Одной Александре Александровне, конечно, трудно было бы справиться — ей надо было помочь. Хотя это по-прежнему была все такая же волевая женщина, стриженная на мужской лад, с пристальным взглядом серых глаз под седыми пушистыми бровями, но в последнее время ее все чаще и чаще душила злая астма и укладывала в постель.

Зоя почти все взяла на себя. То не знала, какую бы найти себе работу, а теперь ей прямо-таки не хватало времени: надо было натаскать на чердак песок и распределить его там ровным слоем поверх потолочного настила; сараи, крытые толем и тесом, тоже нельзя было оставить без песка, — стоило только упасть на такую крышу зажигательной бомбе, и все бы кругом вспыхнуло. Песок пришлось таскать носилками издалека, от самых Новых домов, куда в свое время строительная контора навозила его в огромном количестве для новостроек района. Шура попробовал было докопаться до песка у себя во дворе, хотел взять его поближе, — из этого ничего не вышло: за подзолистой почвой, глубже, пошла тяжелая глина.

Зоя своим азартом взбудоражила и втянула в работу всю молодежь дома и даже соседей: Мишу Чижова, сына молочницы Сергея, помогал таскать песок и гармонист Саша Прохоров. Ирина, конечно, тоже не отходила от Зои. Когда все закончили по дому № 7, стали помогать соседям. Натаскали песок и на чердак того домика, где жила со своей семьей Ирина.

Шура трудился с усердием не меньшим, чем, бывало, гонял футбольный мяч. Он с наслаждением зарывался лопатой в сыроватый, яркий, зернистый песок, размашисто кидал его на носилки или же, горбатясь, таскал его в мешке по крутой стремянке на чердак и разгребал его там, как петух ногами, распределяя ровным слоем. Опять он был в своей родной стихии: спина взмокла от пота, вся рубашка измазана, на лбу тоже рыжая грязь, смешанная с потом. Опять шутки, милая кривая улыбка... Вот такой он много ближе Зое, чем хмурый кисляй, глухо молчащий и угнетаемый своим же собственным молчанием.

Когда поставили по углам дома большие бочки и ведрами натаскали из водоразборной

колонки в них воду, Шура изрек:

— Здесь я буду топить зажигательные бомбы, как котят!

— Дон-Кихот ты стопроцентный! — сказала укоризненно Ирина. — Дело идет о жизни и смерти, а ты как петрушка какой-то.

— Вот именно, дело идет о жизни и смерти! Смотри, несчастный ребенок, учись, как это делается.

И Шура, мгновенно выхватив из своего кармана носовой платок, быстро окунул его в бочку, вынул тут же и, расправив, прикрыл им свою голову. Не обращая никакого внимания на то, что вода стекает у него по лицу и уже пробирается за ворот, он подскочил к стене, на которой был развешан противопожарный инвентарь, выданный в районе (ведра, топоры, багры и кованые, гнутые из железных прутьев щипцы, чтобы, не обжигаясь, можно было поднять ими с земли зажигательную бомбу), снял щипцы с гвоздя и ловко, как будто уже неоднократно занимался этим делом, выхватил из поленицы дров березовый кругляк и уже собрался было утопить его в бочке, воображая, что это зажигательная бомба, как вдруг из окна второго этажа раздался крик Сеницына:

— Космодемьянский, положи полено обратно! Кто тебе разрешил безобразничать с чужими дровами? Если Гитлер напал на Советский Союз, значит, хулиганам все дозволено?

Шура от неожиданности уронил полено.

— Шурка! — крикнула Ирина таким голосом, как будто на землю упало не полено, а самая настоящая бомба, сброшенная с самолета, от которой — еще мгновение — и запыляет дом.

Не растерявшись, Ирина мгновенно подхватила с земли полено и, далеко отставив его от себя и отвернув лицо, точно от него в самом деле разило нестерпимым жаром, тут же окунула его в бочку с водой.

Никто не рассмеялся. Ирина и Шура разыграли всю эту сцену так живо и натурально, с такими переживаниями, что всем стало по-настоящему тревожно, пахло чем-то зловещим, и все невольно подняли головы вверх и посмотрели на небо, где еще ни разу не пролетал ни один вражеский самолет.

Старая партизанка Александра Александровна тоже видела все, что произошло. Она сказала Зое:

— Отдай ему полено, пускай он подавится им!

— Возьмите вашу фамильную драгоценность, гражданин Сеницын! — сказала Зоя.

Она отнесла мокрое полено и положила его на место, туда, где были сложены дрова Сеницына. Но Сеницын уже ничего не слышал: как только он увидел, что Зоя вмешалась в это дело, он демонстративно захлопнул окно.

Проходя мимо Шуры, Зоя с тревожной тоской, мельком заглянула ему в глаза и тихо

проговорила, но так, чтобы он слышал каждое слово:

— Неужели мой брат трусишка?

4

Вечером во дворе за сараем рыли щель. Работали опять весело. Нельзя было без смеха смотреть, как Шура кидался всем под ноги, стараясь спасти дождевых червей. Он собирал их в жестянку из-под консервов- хотел идти ловить рыбу на Тимирязевский пруд. Уже все забыли про «генеральную репетицию» с зажигательной бомбой и опять работали, точно играли. Разве можно было представить себе, что на этом месте в самом деле будут прятаться, искать убежища от смерти взрослые люди? Но чем глубже вкапывались в землю и чем темнее она становилась и сырей, тем ближе подступала к сердцу тревога.

Заглянула в яму и партизанка.

— Копайте длиннее, — посоветовала она, — дойдет дело до беды, прибегут сюда и соседи. Надо скамеечки сделать и тесом стенки обложить, а то старики спины остудят — потом от радикулитов не избавишься.

— Ну, уж и скамеечки... — сказал Саша-гармонист. — А где же доски взять? Тогда уж несите сюда и столы, а то где же самовар ставить, на чем будем чай пить?

— Да разберите хоть мой сарайчик, — предложила партизанка, — кур я давно не держу, а дрова можно и в сенях сложить.

Мать Зины и Коли Седовых сказала:

— Давайте откроем все наши сараи, — что ж теперь делать, раз пришло такое время, пускай каждый покажет, что у него имеется.

Так и сделали. Доски нашлись. Соорудили даже навес на столбах, чтобы яме никакой дождь не был страшен. Не хватило только теса закрепить земляные ступеньки. По ним только один раз спустилась для пробы и поднялась Александра Александровна, и края их уже смялись, осели и начали осыпаться. Она сказала:

— У Синицына в сарае есть доски, я сама видела: разложены на стропилах. Пускай и он открывает свой сарай. Никому своего не жалко — чего же он жметесь? Зоя, пойдй окажи ему: если сейчас же не вынесет доски, я лопатой собью у него замок и все равно возьму. А придет грозный час, мы его, как заразного, не будем пускать в убежище.

Никто не присутствовал при объяснении Зои с Синицыным, о чем они там разговаривали — осталось тайной. Зоя долго не возвращалась. Но вот она выскочила на крыльцо и, помахав ключом над головой, побежала к сараю. Следом за нею вышел Синицын. Он заглянул в щель, брезгливо поджал губы и, поворачиваясь спиной и уходя от нее, проговорил:

— Братскую могилу вырыли и рады!

Пройдя несколько шагов, он остановился, оглянулся и добавил:

— Вы думаете, мне досок жалко? Мне вас жаль! В Лондоне разрушены целые кварталы. Город Ковентри сметен с лица земли! А вы думаете от бомбы, в которой весу целая тонна, спрятать голову под подушку. Бежать надо, уходить из Москвы, а не лезть заранее в могилу. Гитлер здесь все перепашет своей авиацией, не оставит камня на камне.

Синицын ушел, почему-то вытирая на ходу руки белоснежным платком, как будто он хотел подчеркнуть этим, что его дело было только предупредить.

— Гадина какая! — сказала Ирина. — Жаль, Зоя в сарае — она бы сумела ему ответить. А ты, Шурка, что же ты молчишь? Я тебя, честное слово, иногда не понимаю!

— Подожди, Ирина, подрастешь, станешь взрослее, тогда поймешь и ты меня! — ответил ей Шура.

5

Была глухая темная ночь с добросовестным соблюдением всех правил светомаскировки, когда вдруг тоскливо, тонко занули в оконных рамах дребезжащие стекла.

Возле дома № 7 разворачивался грузовик. Вороватый, запрещенный в городе резкий свет фар несколько раз стеганул по бревенчатой стене дома, по затемненным окнам. Стараясь подрулить ближе к крыльцу, водитель раздавил колесами и вмял в землю несколько кустов боярышника. Потом грубый топот на лестнице долго не давал спать жильцам: Синицын выносил из своей квартиры со второго этажа узлы и чемоданы. Ему помогали жена и дочь. Даже пианино спустили вниз с помощью водителя и еще какого-то человека, приехавшего с ним. Делалось все это молча. Покончив с укладкой на грузовик своего добра, преподаватель музыки заколотил трехдюймовыми гвоздями дверь в свою пустую теперь квартиру.

Никто так и не уснул в доме, пока грузовик не отъехал. Но ни один человек не вышел за порог своей комнаты протянуть на прощание руку Синицыну.

«Черт с тобой! Уезжай скорее! — думала в своей постели Александра Александровна. — Твою квартиру все равно откроем — беженцам понадобится».

Утром, наливая в раковину воду, Шура произнес, ни к кому, по своему обыкновению, не обращаясь:

— Эпикур сказал: «Не бойся смерти! Пока ты существуешь- ее нет, а когда она придет — тебя уже не будет».

У всех был неприятный осадок от ночного события, никому не хотелось произносить имя Синицына, и ни мать, ни Зоя не поддержали разговора. Любовь Тимофеевна расчесывала свои волосы, а Зоя заканчивала подгрести в совок мусор, после того как

подмела комнату. Однако изречение древнего мудреца, произнесенное Шурой, глубоко ее задело, и она над ним задумалась. А Шура, уже вытираясь полотенцем, выдал для всеобщего сведения еще одну цитату:

— Храбрый умирает только один раз в жизни, а трус умирает несколько раз на день — от страха!

Зоя взяла ведро за дужку и бодро побежала вниз по лестнице выносить мусор. Слова Эпикура не выходили у нее из головы. Когда она возвратилась в комнату, Шура уже сидел у стола и со вкусом, не торопясь, намазывал на черный хлеб масло.

Зоя его спросила:

— С каких пор ты начал изучать философию? Откуда ты знаешь, что это сказал именно Эпикур?

Шура ответил:

— Когда имеешь такого друга, как Димочка Кутырин, нет никакой необходимости заглядывать в энциклопедический словарь.

В полдень Зоя, насыпав поверх газеты на столе гречневую крупу, принялась выбирать из нее черные галочки — готовилась варить кашу. Вдруг объявили по радио, что будет передано важное сообщение.

Выступал Сталин.

Он обращался ко всему советскому народу. Его выступление поразило Зою. Она поняла, что опасность, нависшая над страной, несравненно больше, чем многие представляют ее себе. «Дело идет о жизни или смерти» — это беспощадная правда!

Сталин призывал понять это до конца.

Сталин волновался, — это ясно чувствовалось по его голосу. Было мгновение, когда у него даже, перехватило дыхание. Он остановился, замолчал, и совершенно отчетливо стало слышно, как он наливает, чтобы успокоиться, воду в стакан. Рука его дрожала: булькала льющаяся вода, и горлышко графина слегка ударялось о край стакана.

Эта неожиданная подробность, простая человеческая черта делала Сталина необыкновенно родным, близким, придавала необыкновенную силу и выразительность всему тому, что после этого он сказал.

Особенно врезались в сознание Зои его призыв к партизанской борьбе на захваченной немцами земле и слова:

«Земля должна гореть у врага под ногами...»

И весь остаток дня все время звучали в душе у Зои первые слова, с которыми Сталин обратился к народу, совершенно необычные по своей душевной простоте, тихие и в то же время кричащие, как набат, — до какой, значит, опасности для всей страны дошло дело: «Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои!..»

Вечером Александра Александровна, сидя на крыльце дома, задумчиво смотрела на закат, догоравший над могучими дубами Тимирязевского парка, и непрерывно курила:

кончала одну папиросу и тут же, не бросая окурка, прикуривала от него другую. Но когда Зоя спустилась сверху и присела на верхней ступеньке рядом с нею, Александра Александровна загасила окурочек, потыкав им в подошву туфли, и отбросила далеко в кусты.

Зоя сразу же заговорила, как только села:

— Александра Александровна, почему вы никогда ничего не расскажете о гражданской войне, о партизанах?

— Все уже давно в книгах рассказано. Читала?

— Читала.

— Ну и хватит с тебя! Все равно, что пережито, всего не обскажешь...

Зоя видела, что Александру Александровну начинает знобить, становилось все больше и больше заметно, как шевелится у нее на коленях, вздрагивает фартук.

Зоя грустным, проникновенным голосом попросила ее;

— Александра Александровна, научите меня — я хочу пойти... пойти...

— Это куда же?

— В партизаны!

Александра Александровна добродушно рассмеялась и ласково похлопала Зою по спине своей изуродованной рукой.

— Зоя, голубушка моя глупенькая, — сказала она. — Это ведь в кино можно пойти или в театр, а разве в партизаны можно «пойти»?

Ее знобило все больше и больше, а вечер был теплый, и в воздухе не было ничего похожего хотя бы на слабый ветерок.

Зоя отстранилась от ее руки и заговорила с обидой в голосе:

— Нет, вы не смейтесь, не придирайтесь к неудачному слову, а лучше научите: что мне делать?

— Хорошо, сейчас научу. Подожди меня!

Александра Александровна, упершись руками в колени, поднялась и ушла к себе в комнату. Когда она возвратилась на крыльцо, от нее сильно пахло спиртом. Вытерев рот платком, она заговорила. Теперь ее больше уже не трясло, не знобило.

— Зоя, слушай меня, красавица моя ясноглазая: без тебя найдутся народные мстители. Тебе школу надо кончать, — отдыхай покудова, до осени. А если грянет такое горе народное и фашист дойдет до Москвы — вот тебе моя рука! Видишь, куда иголки под ногти мне вгоняли? Я тебя тогда сама позову — вместе станем партизанить, рвать глотку врагу нашему! А сейчас — иди, пожалуйста, занимайся своими делами и не бери ты мою душу, не приставай.

Александра Александровна пошарила под фартуком, вытащила портсигар и снова принялась курить.

Первый массовый налет немецкой авиации на Москву и первая бомбежка с пожарами, с разрушениями и с человеческими жертвами совпали с ночным дежурством Зои. Очень трудно переносить вой сирен. Ни в какое сравнение не идет с ним совершенно спокойное предупреждение, мужественный голос диктора: «Граждане, воздушная тревога! Воздушная тревога! Воздушная тревога!»

Металлические сирены опережают человеческий голос, они первыми начинают свой истерический вопль- сначала тихо и с низких тонов, но каждую секунду повышая свой голос, выматывая душу и как бы сами себя подстегивая, доводят до высшего накала, пока все воздушное пространство над городом целиком не будет заполнено этим многоголосым воплем.

Кажется, что сами звезды небесные должны осыпаться от этого хорала, как осенние листья от бури. Но вот вдруг все стихает, как бы надорвав голосовые связки и задохнувшись от перенапряжения.

Тогда в тишине становятся слышными топот ног на лестницах, звук закрываемых окон, хлопанье калиток, скрип дверей, тихие, тревожные голоса, торопливо, на ходу произнесенные слова.

Кто-то, как бы пугаясь своего голоса, восклицает:

— Ой, где же узел? Наташа, вернись домой, возьми со стола узел!

Плачет чей-то ребенок:

— Мамочка, где ты? Подожди меня — я потеряюсь!

— Я тебе дам «потеряюсь»! У меня Витька на руках, на, держись крепче за мою юбку! Это соседи идут прятаться в щель, вырытую при доме № 7 по Старопетровскому проезду. Александра Александровна довольна — правильный дала она совет делать убежище просторнее.

Услышав голос сирен, предупреждающий о том, что самолеты врага приближаются к городу, невозможно оставаться на одном месте. Одних он властно сдергивает с кроватей, вытаскивает из комнаты и гонит вниз по лестнице в подвал, в щель, в убежище, а у других голос сирены возбуждает непреодолимую жажду все видеть самому, не пропустить ни одного мгновения и все зримое вобрать в свое сознание и запечатлеть его в своей памяти на веки вечные, до конца своих дней, если судьба проявит к тебе милость и ты умрешь в свой срок, доброй смертью у себя на постели. Такие поднимаются на чердак, взбираются на крышу, стоят под открытым небом или, слегка сдвинув в сторону край светомаскировочной шторы, погасив свет, смотрят из своего окна пристально на небо — им надо все знать и все видеть.

Еще не успели смолкнуть сирены, а Зоя уже выбралась через слуховое окно чердака на крышу своего дома; под ее ногами глухо заворчало, загремело железо. Воздух

совершенно неподвижен. Светлая летняя ночь — слабый отсвет далеких северных белых ночей. Неугасающий — от зари и до зари — прозрачный край неба уже передвинулся с западной стороны на северную окраину города, — как говорили в старину в народе: «Заря сходится с зарей». А города как будто и нет: ни одно окно не светится. В небе необыкновенно просторно, звезды чуть теплятся, — так просторно, словно оно выгнуло свое хрустальное полушарие над глухой, бескрайней степью, а не над столицей социалистического государства с населением в несколько миллионов человек.

Когда смолкли сирены и замолчали, успокоились все, кто спустился в убежище, стало неправдоподобно тихо. Но ненадолго. Вот он!

В небе возник еще не знакомый никому из москвичей звук: с запада, на огромной высоте, приближается к городу немецкий бомбардировщик. Его голос не похож на мелодичное пение моторов советской авиации. Фашист ритмично ноет, навязчиво подвывает. Звук нарастает. Бомбардировщик упорно, неотвратно несет на Москву груз своих бомб.

Ближе, ближе... Вот уже становятся видимыми вокруг точки, откуда исходит этот звук, красноватые разрывы зенитных снарядов. Они похожи на огненные кляксы с неровными краями, мгновенно возникающие в небе и тут же сгорающие. Несколько десятков прожекторов начинают кромсать небо вдоль и поперек своими как бы дымящимися лиловато-сиреневыми мечами.

Неожиданно сзади Зою словно ударило плашмя по спине широкой доской — дала первую серию залпов противозенитная батарея из Тимирязевского парка. Зоя оглянулась. Второй залп! От каждого залпа парк озаряется изнутри: видны стволы деревьев; охваченная пламенем, вся масса листвы на мгновение становится адски черной и в то же время пылающе-красной, словно окаченная снизу доверху нефтью и подожженная; из жерла орудий каждый раз после мгновенного выброса снаряда спокойно вытекают зеленовато-золотистыми струями остатки догорающего газа. Зрелище настолько необычное, что Зоя в первые минуты даже забывает о том, что происходит налет вражеской авиации.

А между тем число огненных клякс-разрывов в небе все увеличивается, в то же время подвывающий звук фашистского самолета не умолкает. Наоборот! Появляются новые районы в небе, из которых распространяется такое чужое, угрожающее нытье моторов. Наперерез этим звукам то из одной точки горизонта, то из другой под углом к вражеским самолетам вырываются, словно из гнезда, золотые стайки птиц как бы стараясь обогнать одна другую, они взвиваются все выше и выше, стремясь заклевать стервятника. Но нет. Не достигнув фашистского самолета, они гаснут одна за другой. Это наши пулеметчики-зенитчики пытаются сбить вражеский самолет длинными очередями трассирующих пуль. Получается так, словно они прошивают небесный

полог недолговечной золотой строчкой.

Ошеломленная фантастическим зрелищем, Зоя не отрывает взгляда от того, что разыгрывается над городом.

Сразу в нескольких местах на небе возникают новые световые точки. Это фашисты подвесили, как люстры, сбросили осветительные ракеты. В первое мгновение они кажутся неподвижными. Но вот становится заметным, как они медленно опускаются на город на своих маленьких парашютах.

Теперь фашистам хорошо видно то, ради чего они сюда прилетели, та цель, которую они сейчас начнут бомбить: весь район, все кварталы залиты искусственным, розовато-сизым, мертвенным светом.

Слышен разрыв первой сброшенной бомбы — точно в толщу земли вколотили циклопическую сваю. Утробный толчок передался по земле, и дом под ногами у Зои вздрогнул. Еще разрыв, еще и еще! Фашисты освобождаются от груза бомб. Вот взметнулось над Пресней дымное пламя — загорелся толевый завод. А вот поднялся, как над вулканом, тонкий, расплзающийся в высоте столб дыма — это попала фугасная бомба в винный склад на берегу Яузы. Еще и еще то там, то здесь возникают над Москвой огни пожаров.

Вдруг дрогнуло, рухнуло что-то справа. Воздушная волна дошла до Зои, и она ухватилась, чтобы устоять на ногах, за кирпичную трубу на гребне крыши. В свете взрыва, в его мгновенной вспышке, Зоя увидела весь силуэт своей школы, точно ее тоже окатили от крыши и до фундамента пылающей нефтью. Потом еще одно мгновение — и на том месте полная темнота, только изумрудно-лиловые круги поплыли в ослепленных глазах Зои. Неужели бомба попала в школу? Что же происходит? Что же это такое? — смятенно думает Зоя. Почему же еще не упал ни один немецкий самолет? Почему?! Ведь куда только ни глянешь, всюду, по всему району — вспышки от залпов наших зениток, стон стоит, нестерпимая автоматическая стукотня от серии залпов; вокруг дома все чаще и чаще падают с визгом осколки от наших зенитных снарядов; иногда даже слышно, как они со шмяканьем втыкаются в мягкую землю на огородах. А звук фашистских моторов, как бы совершенно неуязвимый, плавает там, в тишине, над всеми этими земными, далекими для него попытками еще и еще раз дотянуться до него, поразить.

И вдруг произошло то, чего с замиранием сердца ждала глядящая вверх, запрокинув голову, вся Москва и что ей все-таки показалось теперь чудом!

Суевившиеся, шарившие по всему небу лучи прожекторов и выкраивавшие из воздушного пространства подвижные, то и дело меняющиеся геометрические фигуры вдруг остановились на секунду и тотчас же снова сдвинулись с места, но уже не вразброд, не каждый за себя, а все разом потянулись в одну сторону небосклона и — вот он! — соединились в одной точке и поймали на самое острие своей световой

пирамиды фашистский самолет. Не прошло и полминуты, как он вспыхнул, в отличие от чистых серебристо-сиреневых лучей прожекторов, густо-красным, дымным бензиновым пламенем.

До этого мгновения Зоя, потрясенная трагическим, торжественным зрелищем обороны от воздушного налета, забывшая все на свете, кроме этой ошеломляющей картины, чувствовала себя так, словно она одна-единственная, кто видит со своей крыши, что творится над городом. А тут вдруг на всех соседних крышах и дальше — и в сторону парка и к Новым домам — раздались аплодисменты, возгласы восхищения и крики «ура».

Зоя не выдержала и закричала:

— Шура, мама, видите?

Раздался едва слышимый во дворе среди ликования тревожный голос Любви Тимофеевны:

— Зоя, не упади!

Услыхав имя своей любимой подруги, Ирина крикнула с крыши своего домика:

— Зоя, правда, красиво?

А пылающий самолет врага рванулся в одну сторону, потом в другую, — он пытался сбросить с себя карающее покрывало пламени, но не вырвался из его объятий — вошел в крутой штопор и где-то там, не видимый за дальними крышами, рухнул.

Во дворе дома № 7 и на соседних крышах все были радостно возбуждены — переговаривались, окликали в темноте друг друга, стремясь поделиться переживаниями, не вмещавшимися в душе человека. Но вот раздался какой-то новый звук, не очень громкий, но возникший слишком близко, прямо над головой, и невольно все начали медленно, но неудержимо втягивать голову в плечи и закрывать глаза, ожидая: что ж это сейчас упадет?

Где-то вверху ехидно заныла как бы кем-то задетая тонкая струна, и вот этот выматывающий душу звук превратился в металлический, чистый, нарастающий свист... Ближе... ближе... и вдруг — шпок! — и мгновенный треск сухих проломленных досок. И тотчас же какая-то женщина истошно закричала:

— Спасите! Помогите! Спасите корову!

Внизу, во дворе, раздался смех. Все сразу узнали голос молочницы. После только что пережитого страшного напряжения, когда неизвестно было, чем же все это еще может закончиться, — крик о корове всех рассмешил. Совестно смеяться в такую минуту, но удержать смех не было никакой возможности.

Но это длилось только несколько недолгих мгновений. Как только увидели, что хлев у молочницы зловеще засветился изнутри, каждому стало ясно: сейчас загорится хлев, от него займется дом, следом за ним- соседний, и все вокруг запылает.

Первым на месте был Шура Космодемьянский с щипцами в руках. По пути, прыгая

через канаву, он кого-то сшиб и, упав, больно ударился локтем о землю, но щипцов, нет, не выпустил из рук. Когда подскочивший к нему гармонист Саша вздумал было, пока он лежал на земле, вырвать их у него, Шура, вскочив на ноги, свирепым голосом закричал:

— Отойди, убью!

Никто этого от него не ожидал. А дальше пошло все, как он репетировал с березовым поленом, и даже с еще большей находчивостью и ловкостью. Зажигательная бомба уже разгорелась и начала выбрасывать, как фейерверк, огненные, жгучие брызги. Носового платка теперь не хватило бы, Шура, не раздумывая, сдернул с головы голосившей, что-то там причитающей молочницы ситцевый платок и мигом погрузил его в бочку, которую он же вместе с Зоей и с соседскими ребятами наполнял водой. Мокрый платок надежно защитил ему голову, лицо и плечи, обильно стекающая с платка вода хорошо смочила рубашку и стекала ниже, на брюки. Но платок в то же время ослепил Шуру. Не растерявшись, Шура зло разорвал зубами помеху, сделав себе рваную щель для глаз, и кинулся в хлев, навстречу жаркому рою искр. В нескольких местах на обеих руках больно обожгло пальцы (не было времени надеть рукавицы), но Шура не выпустил из щипцов огненной гадины, змеиной шипучки.

— Купай в бочку! Купай, сынок, ее в бочку! — кричала молочница, заслоняя рукой лицо от жара.

Но бочка стояла слишком близко от деревянной стены, проконопаченной сильно уже разлохматившейся от времени паклей. Шура в эти опасные мгновения соображал с необычайной ясностью. Он вытерпел злые укусы искр и, отбежав от хлева, утопил бомбу в канаве. Шуру обдало, как в бане, горячим паром.

В хлеву в плетеной кошевке горело сено, но его быстро раскидали по земле, затоптали ногами и залили из ведра водой.

Вывели корову наружу. Сергей, сын молочницы, сказал:

— Маманя, смотрите, а хвост у Пеструхи обгорел!

В самом деле, свисал один только голый прут, без волосяной кисти-махала. Кто-то опять засмеялся. Молочница топнула ногой:

— Чтоб тебя разорвало! Нашел время смеяться! Шура! — тотчас же позвала она, резко меняя тон.- Где же ты, мой спаситель?!

Он уже успел стащить с головы, отлепить от лица мокрый платок и стоял в стороне, смущенно улыбаясь обычной своей, сдернутой на сторону милой улыбкой. Он был весь мокрый: лицо его блестело от воды, и волосы отливали маслянистым розовым лоском (уже значительно посветлело — приближался рассвет).

Молочница, — она была гораздо ниже его ростом, — обхватила Шуру за мокрые плечи и, прижавшись головой к его мокрой рубашке, разрыдалась.

Между тем все больше светало. Посвежело, и чуть-чуть шевельнулся зарождающийся

ветерок. В утреннем воздухе резче запахло селитренным, пороховым запахом, потянуло со стороны центра тоскливой гарью пожаров. Прошло еще каких-нибудь полчаса, и над Москвой из всех громкоговорителей, установленных на перекрестках, на крышах и глубоко под землей, в метро, раздался благословенный голос, снимающий тяжкий груз с души измученных вынужденной бессонницей людей, позволяющий наконец размять затекшие ноги в подвалах, в щелях, во всех убежищах и на шпалах в метро между рельсами:

— Угроза воздушного нападения миновала! Отбой! Отбой! Отбой! Угроза воздушного нападения миновала!

7

Она не взяла в рот ни крошки, она не стала завтракать, ничего не могла есть...

Школа!

Ведь там упала бомба, Зоя видела это своими собственными глазами. А товарищи? Где Ярослав? В районе упало несколько фугасных бомб: ночью, стоя на крыше, Зоя насчитала четыре пожара правее Новых домов. Чьи жилища разрушены? Ведь здесь повсюду, в районе школы, живет не тот, так кто-нибудь другой из ее товарищей.

Почему утром так сильно пахло гарью? Что разрушено, что сгорело, неужели кто-нибудь погиб под развалинами? В Москве ли Ярослав? Ведь с самого начала войны она не видела его еще ни разу. А что, если попросить Шуру сходить к нему на квартиру? Нет, разве это возможно! К тому же Шура уже ушел и мама ушла. Как тихо они позавтракали, — Шура не стал даже убирать постель, так и оставил матрас на полу, лишь бы дать Зое возможность выспаться после дежурства.

Какая ночь миновала!

Стоя еще на крыше, Зоя решила: все, что она видела и пережила в эту ночь первой бомбежки Москвы, обязательно надо записать. Но где взять необходимые для этого слова, откуда достать краски? «Это под силу лишь великому художнику и летописцу, а не мне. Не буду даже пробовать», — так погасила она вспыхнувшее было у нее желание возобновить дневник, который она вела еще в детстве.

Зоя не стала убирать комнату, — скорей бы только увидеть, что произошло со школой. Как хорошо, когда острижены волосы, — вот и не надо растрачивать драгоценное время: «Причешусь на бегу!» И вот уже бежит Зоя, несется по Старопетровскому проезду. Дружелюбный ветерок досушивает ее вытертое лишь наспех после умывания лицо. Она бежит все дальше.

Наконец она остановилась, увидев крышу школы, и, глубоко вздохнув, сказала себе в упрек, не переставая в то же время ощущать радость: «Не разводите панику, товарищ Космодемьянская, ваша школа стоит на месте!» Однако, еще даже не успев закончить

эту фразу, она уже по каким-то едва уловимым признакам начала догадываться, что со школой не все благополучно. Не прошло и трех минут, как ясно стало все, что здесь произошло.

Возле школы разорвались две бомбы: одна упала на трамвайных путях, другая — в школьном саду. Школа осталась стоять на своем месте, но она была осквернена. То, что Зоя увидела, вызывало у нее ощущение святотатства, глумления. Больше всего пострадало крыло, где была расположена библиотека. Здесь не уцелело в широких окнах буквально ни одного стекла, кое-где болтались лишь осколки на тех самых синих полосках бумаги, которыми стекла были заклеены крест-накрест, для предохранения от взрывной волны. А в некоторых оконных проемах ударом воздуха высадило целиком и все рамы. Карниз по всему фасаду обвалился, штукатурка осыпалась, и в обнажившуюся кирпичную стену въелась причудливыми пятнами черная земля, брошенная взрывом со страшной силой. Значительная часть сада, только что созданного руками ребят, была изуродована: деревья выкорчеваны или покалечены и перемешаны вместе с прахом: здесь повсюду валялся переброшенный с мостовой булыжник, рваные куски асфальта и даже рельсы с трамвайных путей, перекрученные судорогой взрыва.

Ну что же, раз стены удержались на своем фундаменте и крыша цела — казалось бы, не так уж плохо? Но посмотрите, что творилось в библиотеке! Дверь вырвана из своего гнезда, рамы тоже целиком высажены из всех окон; где хочет, гуляет сквозняк и невидимыми пальцами перелистывает, перебирает страницы повсюду разбросанных на полу книг. Под ногами хрустит стекло и даже повизгивает под подошвами, вызывая оскмину и брезгливость. Стеллажи, раньше стоявшие параллельными рядами слева от входа, повалились теперь один на другой, и книги ссыпались с них на пол беспорядочной грудой. Сорвало воздушной волной полки и с правой стены. Часы удержались на ней, но висели они теперь косо и остановились, — стрелки засекали то мгновение, когда взорвалась бомба: четырнадцать минут второго.

Штукатурка с потолка обвалилась и погребла под собой сброшенные на пол книги, рассыпавшись на мелкие кусочки. В этом мучнистом крошеве известки то и дело посверкивали острыми блесками осколки стекла, некоторые из них, точно брызги, разлетелись в мельчайшую пыль.

Зою ошеломило все, что она увидела в своей любимой библиотеке; она никак не могла собраться с мыслями и в первые минуты даже не замечала, что в библиотеке она не одна. Ей захотелось вытащить из-под комьев штукатурки, спасти какую-то книгу, она нагнулась к полу, но тут же отдернула руку: на пальце выступила кровь. Зоя принялась ее высасывать, чтобы в ранку не попала грязь.

Вдруг раздался голос библиотекарши, Марии Григорьевны:

— Зоя, возьми мои перчатки! Без перчаток нельзя разбирать — здесь все нашпиговано

осколками. Бери перчатки, а я займусь карточками, — ты видишь, что они сделали с картотекой?

Зою поразило лицо Марии Григорьевны. Весь вид ее говорил о том, что этот человек как будто только что перенес тяжелую болезнь и поднялся с постели вопреки запрету врача.

В дальнем углу библиотеки хрустнуло под чьей-то ногой стекло. Зоя оглянулась, — оказывается, Иван Алексеевич Язев тоже здесь. Он углубился в чтение какой-то книги и теперь уже ничего не замечает. Ветер пытается перевернуть страницу, мешает ему, но Язев, как бы отмахиваясь от него, поправляет страницу, разглаживает и все читает и читает — теперь уже его не оторвешь.

Зоя подумала: «Сколько книг я не успела еще прочесть! А ведь все это может погибнуть, сгореть в одну ночь...» И она опять взглянула на Язева. Его словно мучила та же самая мысль: он торопливо, жадно старался дочитать какую-то книгу, а ветер на сквозняке все так же озорничал, пытался спутать страницы.

Зоя надела перчатки и наугад вытащила из-под мусора несколько книг. Ей попались под руку «Жизнь растений» Тимирязева, «Анна Каренина» Толстого, «Красное и черное» Стендаля.

Надо составить для себя список книг, которые во что бы то ни стало она прочтет в первую очередь. Сегодня же начать читать, — ведь библиотека может погибнуть в эту же ночь. И к Зое опять вернулась мысль: «А куда же попали остальные бомбы, сброшенные на Москву? Что погибло там, в центре города?»

В это время мать Пети Симонова, Марфа Филипповна, вошла в библиотеку и ахнула, увидев, во что она превращена.

— Паразит! Бандюга! Хулиган, куда же он метился, собака?!

Пришел директор, Василий Петрович. Он уже видел всю эту картину; теперь он привел с собой отца Пети Симонова и начал обсуждать вместе с ним, как, хотя бы временно, заделать фанерными щитами оконные проемы. Василий Петрович говорил при этом так тихо, словно в комнате лежал покойник.

Но отец Пети не стеснялся, он даже обрадовался, увидев Язева, и не отказал себе в удовольствии громко сказать:

— Я вам говорил, Иван Алексеевич, что этот гад другой породы! Такую змею сколько бы ни поили молоком — от этого у нее только больше будет яда!

На Язева эти слова не произвели никакого впечатления, — он только ближе подошел к пустому проему окна, и ветер сильнее, навязчивее принялся теревить у него в пальцах страницы.

Зоя взглянула в оконную дыру, мимо Язева, и глаза ее наполнились слезами. Как же она не взглянула туда раньше! Улыбаясь смущенно и в то же время радостно, она проговорила про себя так тихо, чтобы ее никто-никто не услышал: «Родная моя,

маленькая, прости меня за то, что я тебя до сих пор не заметила!»

Там, за окном, играя и трепеща в лучах солнца всей своей листвой, среди пыли и мусора, стояла совершенно невредимая маленькая липка, посаженная руками Зои и ее друзей.

8

Ярослава мучила совесть: он должен был уехать из Москвы. Невозможно избежать отъезда — это решено без него. Но что подумает Зоя? Вероятно, скажет: «Трус — сбежал! Разве можно оставлять Москву в такие дни?»

А не ехать нельзя — некому проводить до Урала сестру матери, тетю Галю. (Оба брата Ярослава были уже мобилизованы.) При первой же бомбежке у нее случился такой приступ астмы, что всем стало абсолютно ясно: немного потребуются повторных налетов фашистов на Москву, чтобы уложить тетю Галю в могилу, даже если ни одна из бомб и не попадет в дом, где она живет.

А у самого Ярослава во время налетов и бомбежек появлялось какое-то странное состояние нервного возбуждения и душевного подъема. Даже в те ночи, когда ему не надо было дежурить на чердаке или у подъезда дома, вой сирен не загонял его, как всех остальных жильцов, в подвал или в щель во дворе. Он спокойно усаживался на свой стул перед пианино и в абсолютной темноте комнаты с окнами, завешенными светомаскировочными шторами, наизусть начинал играть свои любимые музыкальные произведения: чаще всего это были этюды Скрябина (особенно 10-й) и первый концерт для рояля с оркестром Чайковского. При этом у Ярослава возникало ощущение, по своей яркости похожее на галлюцинацию: он ясно слышал, как его игру сопровождает огромный симфонический оркестр.

Было и другое поразительное чувство: ему казалось, что у него за спиной, в простенке между двумя окнами, стоит Зоя и напряженно, молча слушает его игру. Она поражена силой его исполнения, поражена до слез восторга, до полного слияния с ним в ощущении того, что давала сейчас им обоим музыка и что она требовала от них самих. Порою пол под ногами у Ярослава резко вздрагивал и жалобно зудели в мелком ознобе стекла в оконных рамах; слышен был разрыв бомбы.

А между тем это была далеко не блестящая игра. Если бы преподавательница музыки, у которой Ярослав до последнего времени продолжал брать уроки, услышала бы его сейчас, она бы возмутилась, назвала бы его стиль бесшабашным и немедленно запретила бы продолжать игру.

В темноте Ярослав то и дело ошибался, не туда попадал пальцами, что называется «врал», но он тут же искупал свою вину силой своего порыва, и каждый раз, при ошибке, как бы сорвавшись с горной тропы, вновь тотчас же взлетал до ничем не

запятнанных ледниковых высот.

Таким Ярослав был ночью, а днем его преследовал мучительный стыд. При ясном свете дня Ярослав не мог заставить себя пойти к Космодемьянским и сказать Зое, что он должен отвезти на Урал, к бабушке, тетю Галю, и вместе с ней своих двоюродных сестреночек — ее дочерей — двух девочек: четырех и семи лет. Наконец он как будто успокоился, приняв такое решение: не надо заходить к Космодемьянским. Может быть, Зое совсем неинтересно знать, где он будет проводить каникулы. Ведь они же не улавливались с Зоей о встрече. А с Урала он немедленно вернется в Москву. Никакая сила не принудит его оставаться там до осени. Однако совесть все еще продолжала мучить его, как будто он и в самом деле в чем-то изменил Зое.

9

Ярослав отправился на Цветной бульвар помогать тете Гале увязывать корзины и незапирающиеся, распухшие от всякой всячины чемоданы. На станции «Сокол» он уже совсем было вошел в вагон метро, как вдруг на всю платформу раздался гулкий под сводами станции крик:

— Ярослав, иди в наш вагон!

Звала Зоя — ее голос невозможно было не узнать. Она так резко крикнула, что все оглянулись в ее сторону, а дежурный диспетчер — сильно завитая девушка-блондинка в красной фуражке, едва державшейся на ее прическе, — рванулась было на этот крик, подумав: не упал ли кто-нибудь из пассажиров с платформы. Зоя смутилась и прихлопнула рот ладонью как бы в наказание самой себе. Уж очень внезапен был ее порыв к Ярославу, главное, так обнаженно желание быть вместе. Раньше она никогда даже самой себе в этом не признавалась.

Ярослав не раздумывая попятился назад в проходе вагона и, всех расталкивая, не обращая внимания на то, что его бранили, выскочил на платформу. Но не успел: створки автоматически закрывающихся дверей скользнули навстречу друг другу и соединились. Поезд отнял у Ярослава Зою и увез ее. Через стекло вагона он успел заметить: Зоя не одна, рядом с нею стоит ее подруга. У Ирины насмешливо прищурены глаза, язвительно поджаты губы. Ярослав остался на платформе один, обескураженный.

— Ой, как нехорошо! — сказала Зоя. — Получилось, как будто я его обманула.

— Наоборот, очень даже хорошо! — возразила Ирина. — Пускай немножечко, чуть-чуть помучается. Я замечала, что для мальчишек это полезно. Ты и так, Зоя, напрасно дала ему своим криком козырь в руки.

— Как тебе не стыдно, Ирина! Откуда у тебя такие картежные мысли?

Ирина, конечно, принялась было с азартом объяснять свою правоту, но спорить им

было некогда. Зоя, схватив Ирину за руку, вытащила ее за собой на следующей станции — «Аэропорт», ни одного мгновения не сомневаясь, что Ярослав тоже сойдет на этой же станции.

Вот подошел и его поезд, и они наконец встретились.

— Ты куда? — спросила Зоя.

Ярослав заколебался — сразу же вспомнил о неизбежном отъезде из Москвы.

— В центр! — сказал он. Ему действительно надо было делать пересадку на станции «Площадь Свердлова» и потом уж на троллейбусе от Неглинной ехать до Цветного бульвара.

— А ты куда? — спросил он у Зои.

Вместо ответа она спросила:

— Ты не знаешь, какие разрушения, куда попали бомбы?

И они решили походить втроем по улицам центра, посмотреть, что здесь произошло во время ночных бомбежек.

Под открытое небо вышли на площади Свердлова. Пока ехали в метро, успели расспросить друг друга о том, кто за эти дни каких встречал школьных товарищей и что каждый из них знает о разрушениях в своем районе. Видел ли Ярослав, что сделали фашисты с библиотекой? Ирина по обыкновению была говорлива, вставляла реплики, перебивала Ярослава и Зою и успела даже рассказать о том, каким оказался героем брат Зои Шура.

Но едва они вышли на площади Свердлова под открытое небо, сразу все смолкли, подавленные необычностью представшего перед ними зрелища.

Не было никаких разрушений, все оставалось на своем месте, и в то же время создавалось такое впечатление, как будто бы они попали в другой город.

Все здания стояли замаскированные, дабы ничего нельзя было узнать с воздуха даже при свете осветительных ракет: оба театра — Большой и Малый, Театр юного зрителя, огромный универсальный магазин Мосторга, гостиница Метрополь, все здания, куда ни глянешь, были завешены громадными полотнищами, на которых при помощи красок заново изображены совершенно новые здания, или же поверх строений, прямо по штукатурке, проложены не существовавшие здесь проезды и переулки, или же из огромного здания создана группа небольших двухэтажных домиков и разного рода пристроек к ним провинциального типа.

Рисунок талантливых декораторов совершенно ломал привычную картину бывшей здесь когда-то площади. Это был полностью новый и притом довольно мрачный город, так как преобладали краски — черная, желтая, темно-коричневая и серая — тоже темных тонов.

На площади есть-таки одно разрушение: бомба попала в портал Большого театра. Но она не разорвалась: проломила только крышу и разодрала маскировочное полотнище.

Зато благодаря этой дыре в полотнище все теперь могли убедиться, что мощные колонны портала, прикрытые полотнищем, по-прежнему стоят нерушимо и по-прежнему древнегреческий бог искусства и красоты Аполлон торжественно мчится там, в высоте, на своей колеснице, управляя при помощи одной лишь игры на лире могучей четверкой покорных ему бронзовых коней. Неожиданно Ирина сказала: — Зоя, а ты видишь, что у нас под ногами?

Оказывается, не только здания перекрашены и неузнаваемо изменены маскировкой, — асфальт всей площади (До войны на площади Свердлова не было сквера и она сплошь была покрыта асфальтом.) разграфлен и расписан так, что теперь это была уже не площадь, а если смотреть с воздуха, получается, что Ярослав, Ирина и Зоя идут, без всяких усилий и без всякого для них вреда, по крышам каких-то зданий, шагают по отвесным стенам домов, и вот одна нога у них на крыше, а другая в переулке, никогда здесь прежде не существовавшем.

Осматриваясь по сторонам, стараясь широко раскрытыми глазами вобрать в себя всю огромность площади, Ярослав сказал:

— Кажется, что вся площадь стала сценой, как будто здесь приготовлены декорации для какой-то величественной трагедии.

«Ой, как верно! — подумала Зоя. — Пока мы с ним не виделись, он как-то повзрослел».

Зою поразило — до чего же ощущения Ярослава совершенно совпадали с ее собственными ощущениями от всего того, что сейчас она видела. Ей даже захотелось взять руку Ярослава в свою руку и крепко ее сжать... Но она сдержала себя.

И так, куда бы ни шли Ярослав, Ирина и Зоя, они всюду видели умелую, изобретательную маскировку: все было сделано для того, чтобы враг не мог с высоты найти важнейшие объекты для прицельных бомбежек. Даже стены священного Кремля, главы древних соборов и вся громадина дворца были неузнаваемо видоизменены этой росписью. ‘

Город готов был к обороне.

В Охотном ряду, на улице Горького, на Кузнецком мосту и вообще на любой большой магистральной улице витрины всех магазинов забиты тесом или огромными листами фанеры, и в промежутке между двумя слоями такой обшивки засыпан песок. Песок повсюду: им очень удобно засыпать зажигательные бомбы, гасить их. Он скрипит под ногами, его больше не убирают с мостовых, не подметают с тротуаров, песок возле каждого дома — в огромных ящиках у ворот или в закромах, грубо сколоченных из досок, или же прямо с грузовика сваленный в кучу. Повсюду бочки с водой, и нет буквально ни одного здания, в котором во всех окнах каждая долька стекла не была бы перечеркнута противоздушным пластырем: крестиком из пересекающихся полос бумаги или материи. То и дело попадались выведенные на стенах домов белой краской стрелы, доказывавшие, как пройти в бомбоубежище. И на каждом шагу — плакат: «А

ты что сделал для фронта?» И опять бочки с водой, песок, заколоченные витрины и забаррикадированные или вовсе заложенные кирпичной кладкой окна в подвалы. Ирина, необычно долго молчавшая, постепенно начала оживать и приставать к Зое и Ярославу с вопросами. Она спросила:

— Может ли так быть, — как рассказывают у отца на работе, — будто бы взрывом бомбы выбросило из больницы через крышу кровать прямо с больным и невредимо поставило на крышу соседнего дома?

Убедившись, что на Ярослава и Зою это не произвело никакого впечатления, Ирина сама же и ответила:

— По-моему, все это болтовня, этого не может быть.

Немного помолчав, она опять заговорила:

— Сегодня утром тетя Муня спрашивает мою двоюродную сестренку: «Почему ты так боишься воздушной тревоги?» А сестренка отвечает: «Потому что, мамочка, когда воют сирены, у тебя бывают очень страшные глаза!»

Но и по этому поводу ни Ярослав, ни Зоя ничего не сказали. Ирина опять замолчала. Вверх по улице Горького прошла по мостовой партия москвичей, записавшихся в народное ополчение. Военное обмундирование еще не получили — идут в своей домашней одежде, но многие уже в сапогах. Выправки пока никакой. Очень много среди ополченцев пожилых, бородатых. Многие, шагая в строю, несут на руках своих ребятишек, прощаются, — ведь это же почти наверняка последний раз в жизни. Рядом идут жены с узелочками.

Зоя опять вспомнила голос по радио: «Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои!»

Около главного телеграфа — вереница автобусов: идет посадка детей, их эвакуируют из Москвы. Нестерпимо тяжело видеть на спине семилетнего-восьмилетнего ребенка узелочек, приготовленный в дальнюю дорогу, которая неизвестно еще чем закончится. Пришли провожать детей отцы, матери, здесь же дедушки и бабушки. Лучше не смотреть друг другу в глаза. И те и другие — дети и взрослые — изо всех сил стараются сдерживать себя, чтобы не расплакаться.

На площади Пушкина, около здания газеты «Известия», тоже посадка детей в автобусы; опять мешочки за детскими плечами, ручонки, туго обхватившие мамину шею... Горестная, пронзительная тоска расставания.

— Да, но где же разрушения? — спросила Ирина. — Что же горело? Зоя, мы же с тобой своими глазами видели пожары. Сколько было стрельбы каждую ночь, сколько грохота, сколько сброшено бомб — куда же они попали?

Москва по-прежнему стояла невредимая.

— А это что такое? — спросила Ирина.

Двенадцать девушек — по шести с каждой стороны — несут, удерживая, чтобы он не

вырвался и не улетел бы в заоблачные высоты, огромный раздутый резервуар — баллон с газом, которым время от времени приходится поддувать аэростаты воздушного заграждения. Баллон похож на чудовищное по размерам животное, усмирённое добрыми девушками: оно стало в их руках покорным и даже добродушным со своей мягкой круглой мордой.

Девушки шли в гимнастерках военного образца, в хорошо отутюженных юбочках защитного цвета, на голове аккуратная, красиво, наискосок, посаженная пилотка. «Среди них могла быть и ты!» — подумала о себе Зоя и мысленно, «наизусть», прикинула, как сидело бы на ней такое обмундирование. Словно читая ее мысли, Ирина сказала:

— Зойка, вот здорово! Нам бы с тобой такую пилотку, нам бы она пошла!

Ярослав встрепенулся:

— Если зашел такой разговор, то уж кому-кому, а больше всего пилотка пошла бы мне, Пете Симонову, Димочке Кутырину и твоему, Зоя, Шурке! Даже Терпачеву пошла бы пилотка!

Не переводя дыхания, словно сегодня другого подходящего случая не было и не будет, Ярослав без всякой, казалось, логической связи сказал:

— Зоя, я должен уехать из Москвы. Надо помочь эвакуироваться тете и двоюродным сестренкам. Тетя может умереть во время бомбежек — у нее астма.

— Даже у кого просто расстройство желудка, и тот теперь может умереть в Москве от бомбы! — сказала Зоя и тут же пожалела, что не сдержалась.

«Ой, как некрасиво у меня получилось», — подумала она. Зоя чувствовала, что, должно быть, она неправа, но уже не могла себя удержать и продолжала в том же духе:

— Когда же ты едешь?

— Сначала надо помочь тете увязать вещи.

— Так в чем же дело? Иди, согласовывай, утрясай, увязывай, — зачем же тратить время на прогулки? Ночью ведь опять будет бомбежка!

Значит, Зоя его осуждает... А разве могло быть иначе? Ярослав этого и ожидал. Как тяжело, что его связывает клятва! Он должен молчать, он не может рассказать Зое, сколько напрасных усилий применили они с Шурой и Димочкой, лишь бы попасть на фронт! Ну что же, он будет молчать. И Ярослав беспомощно произнес:

— Мне нужен троллейбус на Неглинной.

И вот они все еще продолжали идти втроем, но уже совершенно молча, как чужие. Зоя никак не могла отогнать от себя гадливого ощущения, потому что ей так не вовремя (она понимала, что Ярослав тут совершенно ни при чем), так не вовремя вспомнилось ночное бегство Синицына, его вороватые сборы к отъезду, тоскливый зуд плохо вмазанных в рамы стекол, дребезжащих от рева мотора, когда водитель ради синицынского барахла старался подрулить поближе к крыльцу.

На улице Куйбышева дворники в чистых белых фартуках сгребали в кучи деревянными лопатами, как ледышки, мелкие осколки толстенных зеркальных стекол из окон второго этажа Народного комиссариата финансов. Метрах в тридцати такое же крошево уже кидали лопатами в кузов трехтонки, увозили на свалку. А наискосок, около Наркомздрава, стояла толпа любопытных. В самом деле было интересно: бомба пробила крышу, косо вышла из помещения через окно опять наружу и, не разорвавшись, прободала асфальт посередине проезда и глубоко зарылась в землю. В Театральном проезде, недалеко от площади Дзержинского, стоял изуродованный троллейбус, помятый и сплюснутый спереди, как морда мопса. Недалеко от троллейбуса возился грейдер. С видом трудолюбивого, старательного жука он захивал обратно в вырытую бомбой воронку густо раскиданную вокруг землю. С противоположного края ямы рабочие уже опять укладывали на свое место, настилали брусчатку, уминая, пристукивая отдельные камни кувалдочками. Каждому прохожему было ясно: через час, через два от этой болячки, от этого укуса фашистской собаки не останется никакого следа.

На углу Неглинной молча попрощались. Зоя взглянула на Ярослава исподлобья. Он не решался протянуть ей руку, Зоя подала ему первая. Получилось как-то вяло, натянуто: оба боялись навязывать свое чувство, и старались, чтобы не было похоже на крепкое рукопожатие.

Ирина вдруг, ни к селу ни к городу, ляпнула, потому что молчание Ярослава и Зои было даже и для нее тягостно:

— Ярослав, смотри не забывай — пиши!

Она вызвала этим улыбку сострадания у Зои за «непроходимую», по мнению Зои, наивность.

В очереди на посадку в троллейбус Ярослав услышал, как старый рабочий говорил другому, такому же пожилому:

— Сбили немецкий самолет. Экипаж выкинулся на парашютах. Представь себе, Москву бомбила фашистская девчонка лет восемнадцати. Допрашивают ее в нашем штабе: «Бессовестная, как ты можешь убивать мирных людей, калечить стариков, женщин и детей?!» А она отвечает: «Нам люди не нужны! Гитлер послал нас завоевать для Германии жизненное пространство!»

Особенно задел Ярослава за живое другой разговор, начатый женщинами уже в самом троллейбусе:

— На донорском пункте она отдала уже целый литр своей крови. Откуда у нее столько крови, окажи пожалуйста! Щечки — как яблочки, сама малюсенькая, как куколка.

— У нас на Трехгорке, — сказала ее спутница, — многие девушки побратались с бойцами, тоже отдали свою кровь раненым.

От этого разговора душевная боль у Ярослава стала еще острее.

Подруги устали, но спустились в метро только у Белорусского вокзала, зато у обеих теперь было чувство успокоения: Москва как стояла на своем месте, так и стоит. Они увидели еще два разрушения — оба бессмысленных и подлых: на Моховой, в садике университета, воздушной волной свалило памятник Ломоносову, а у Никитских ворот повержен в прах памятник Тимирязеву.

Зоя вспомнила, как в прошлом году Вера Сергеевна возила их класс в Измайлово, в студию скульптора, изваявшего резцом фигуру Тимирязева из черного гранита. Вера Сергеевна спросила скульптора: почему он выполнил памятник не в бронзе, а в граните? Скульптор ответил: «Это самый прочный материал. В Египте статуи из гранита стоят шесть тысяч лет. — И добавил, по-озорному улыбаясь: — Что, не верите? Приходите ко мне через шесть тысяч лет — тогда мы с вами проверим!»

И вот этот памятник фашисты повергли на землю. Но когда Ирина с Зоей подошли ближе, они увидели, что статуя только сброшена с пьедестала, она распалась на две части по шву, но совершенно невредима.

Завтра же памятник опять можно поставить на свое место.

Разрушения, увиденные ими сегодня, — это для огромной Москвы как капля в море. А ведь какие были страшные ночи бомбежек! Постепенно начинала созревать в сознании четкая мысль: «А ведь у фашистов что-то не получается!»

10

Дома удивил Шура: весь подоконник в комнате был завален коллекцией осколков от фугасных бомб, от зажигалок и от зенитных снарядов всевозможных размеров и не похожих друг на друга по особой форме изорванных краев. Возле стены стояли прислоненные к ней образцы хвостового оперения зажигалок. Одно из них сохранилось полностью, нисколько не поврежденное, — бомбу удалось окунуть в воду сразу, до того, как она разгорелась. Два других — в форме уже спекшихся, расплавившихся от жара лепешек, со следами приварившегося и остекленевшего при тушении песка.

— Для кого ты устроил эту выставку? — спросила Зоя. — Кому нужен этот мусор?

— Нет, ты посмотри, — показал ей Шура один из осколков. — Ведь это — коготь сатаны! А этот? — и он положил себе на ладонь и протянул поближе к Зое отвратительный кусок металла с закрученными во все стороны, как протуберанцы, заусеницами. — Вот если таким перышком поперек человека — сразу раскроется весь его анатомический театр!

Зоя устало опустила на стул и спросила:

— Где мама?

Шура не ответил. Что-то его самого глубоко беспокоило. Он спросил:

— Зоя, ты можешь быть когда-нибудь серьезной, как совершенно взрослый человек?

Зоя молчала.

— Если память мне не изменяет, мы с тобой брат и сестра?

Зоя ждала, что он скажет дальше.

— А не кажется ли тебе, что это именно к нам обращался товарищ Сталин, когда говорил: «Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои!»?

Зоя побледнела, поднялась со стула, подошла к стене и, заложив руки назад, на поясицу, сжала одну кисть руки другой. Она не спускала глаз с брата. Овладев собою, Зоя сказала:

— Он обращался ко всему народу и каждого называл своим братом и сестрой.

— Значит, и к нам с тобой! — подхватил Шура и подошел к сестре ближе. — Зойка, поклянись, что не скажешь никому ни звука, даже если не согласишься со мной!

— А мама? Ты, Шура, подумал, на кого мы оставим маму?

Словно не слыша того, что Зоя только что сказала, Шура с горячим убеждением порывистым шепотом поманил, позвал ее, как к чему-то страстно желаемому, жутко заманчивому:

— Зоя, давай убежим на фронт!

— А мама? — опять повторила Зоя.

В это время на лестнице раздались такие знакомые, такие родные шаги... Зоя сделала знак рукой, чтобы Шура молчал, и принялась доставать из шкафчика посуду и накрывать стол к обеду.

Вечером, улучив минуту, когда Любовь Тимофеевна вышла из комнаты, Шура спросил:

— Ты мне так ничего и не ответила?

Зоя сказала:

— Я не могу оставить маму одну.

11

К бомбежкам начали привыкать.

Больше уже никто в доме № 7 по Старопетровскому проезду не спешил спускаться в щель, когда начинали истерически выть сирены, а спокойный, но повелительный мужской голос предупреждал: «Воздушная тревога! Воздушная тревога!»

Щель из бомбоубежища превратилась в колодец, вернее, в запасный резервуар на случай пожара. Первое время, когда начала понемножку подпирать почвенная вода, еще пытались было ее вычерпывать. Когда же увидели, что это безнадежное занятие, — ведь почти рядом, через дорогу, канава на огороде никогда не просыхает, — решили построить насыпной блиндаж на поверхности земли, чтобы укрываться от осколков. Потом и этого не стали делать — перестали бояться налетов. Саша Прохоров порой во время бомбежки выходил на крыльцо даже с баяном и — хотя, правда, потихоньку —

наигрывал свои любимые песенки. Обычно рядом с ним присаживалась Александра Александровна и спокойно курила, пряча огонек папиросы в руке, сложенной горсточкой.

Но Зоя успокоиться не могла и не хотела примириться со своим положением. Ее раздражало то, что в бочках с водой появились окурки. «Скоро в них заведутся лягушки, — думала она. — Ну хорошо, Сашу Прохорова обязательно мобилизуют — он может терпеливо ждать, он знает, что вместо баяна скоро у него в руках окажется винтовка. А чего жду я? Где мое настоящее дело? Ведь фашисты не остановлены, они продолжают наступать на Москву, они приближаются к Москве, они убивают, режут, вешают и жгут. Разве можно к этому привыкнуть?!»

Зоя пробовала усиленно читать. За три дня она прочла Мериме «Кармен», Толстого «Хаджи-Мурат» и все его кавказские рассказы, перечитала она также совершенно заново и «Как закалялась сталь» Островского.

Забываясь, она наслаждалась чтением, как путник, изнывающий от жажды, который вдруг выходит на берег широкой полноводной реки. Но нет, даже бессмертная сила искусства не помогла ей забыться, не могла усыпить ее совести, а «Как закалялась сталь» еще больше разожгла ее жажду найти свое настоящее место в эти необыкновенные дни.

Зоя скучала без товарищей, она тяжело переживала невозможность видеться с ними почаще. словно бомба, упавшая на школьный участок, расшвырявшая в библиотеке книги, той же самой волной разбросала в разные стороны и всех друзей Зои.

Конечно, за это время она не один раз видела многих из них: и Димочку Кутырина, и Петю Симонова, и Колю Коркина, и уж конечно Лизу Пчельникову, но всех — порознь; они никогда уже не собирались все вместе. А главное, сейчас у них не было общего для них всех дела, которое бы их объединяло. Что-то, казалось, было уже убито в их школьной дружбе; душу охватывала щемящая жалость, тоска по чему-то безвозвратно утраченному. Менялся и Шура.

Неожиданно он собрал в ведро для мусора всю свою коллекцию осколков, отнес в канаву с водой и туда же побросал образцы погашенных зажигательных бомб.

Взглянув однажды утром на уходившую в город по каким-то своим делам мать, он удивился, до чего же у нее озабоченное, даже угнетенное чем-то лицо. Очень исхудала.

Шура пристально проследил, как расчесывает она свои волосы, — словно первый раз это видел, — как укладывает их в прическу. Совсем другие руки стали у мамы: он никогда не замечал, что у нее такие длинные пальцы. Очень исхудала мама. Да и как не исхудать — обеды и ужины дома стали не те... Занятия в школах для взрослых прекратились. Чем же мама будет зарабатывать? И почему она должна зарабатывать на всех на троих, когда к тому же в семье есть мужчина?

Шура поделился печальными мыслями с Димочкой Кутыриным, — этот друг все знал.

Не обманул он ожиданий и на этот раз. Оказывается, на заводе «Борец» нужны к станкам токари. Берут кого угодно, но сначала придется поработать учеником. Ученикам тоже полагается зарплата.

Обрадовалась и Зоя такой возможности: она тоже пойдет работать токарем. Что может быть в ее положении лучше? Ведь снаряды, мины и патроны, необходимые для разгрома врага, — ничего бы этого не существовало, если бы на свете не было токарей, если бы они день и ночь, в три смены, не стояли бы у станков.

12

Но вышло совсем по-другому: мальчиков девятиклассников и десятиклассников мобилизовали на трудовой фронт. Был слух, что их пошлют рыть окопы и строить рубеж обороны на дальних подступах к Москве. В день сбора Шура ходил сияющий и гордый. В последние часы перед уходом он стал вдруг необыкновенно разговорчив и был ласков с Зоей. У него появилось чувство, похожее на вину перед ней за то, что она остается в Москве, а он уходит.

Хорошо, что как раз в этот день мама принесла на дом материал для шитья солдатских походных вещевых мешков. Значит, заработок будет, и работа такая прекрасная: для фронта! — а не то что ходить в лес за грибами.

По этому поводу Шура счел необходимым огласить свое очередное изречение:

— Без мешка вещевого тонка кишка у бойца любого.

Увидев, как от брезгливости к такого рода словесности изменилось выражение лица матери, Шура поспешил добавить:

— Нет, мам, в самом деле, без вещевого мешка выиграть войну невозможно. Я больше чем уверен, что кто-нибудь это сказал до меня — или Александр Македонский, или Ярослав Мудрый, а скорее всего — наш Суворов, это вполне в стиле его поговорок, вроде «Пуля-дура, штык — молодец»!

С шутками и безобидным балагурством он так и ушел из дому. Ни рукопожатий, ни тем более поцелуев — ничего не было. Это в представлении Шуры не подходит для настоящего мужчины, который носит хоть и потертый пиджачок, но пятидесятого размера и четвертого роста. С порога комнаты он поднял руку и, помахав кистью, сказал:

— Пока, друзья мои!

Но увидев, что в глазах у мамы, да и у Зои, почему-то стоят слезы, он поскорее отвернулся и — айда за порог!

Каково же было его смущение, когда около места общего сбора для уезжающих, у Тимирязевской академии, он опять увидел маму и Зою! Нет, так просто они не могли его отпустить. Ведь известно было, что и фашисты стремятся помешать оборонным

работам и не раз пикировали, бомбили и обстреливали с самолетов тех, кто с лопатой и киркой вышел тоже защищать Москву.

Дома Зоя сразу же взяла в руки ножницы, иголку и нитки: она кроила и сметывала вещевые мешки, а Любовь Тимофеевна доканчивала на ручной швейной машине. Такая работа на первое время вполне примерила Зою с тем, что Шура пошел обливаться потом, натирать себе кровавые мозоли лопатой, а она осталась дома «отсиживаться у печки»

Когда первый мешок был готов и даже продеты, чтобы стягивать, завязывать горловину, белые тесемки, Зоя примерила его на себе, просунув руки в лямки.

— Мама, — сказала она, — вот бы узнать, кому попадет в руки этот мешок! Какая судьба ждет бойца, который будет носить на спине мешок, сшитый нами? Что его ждет впереди?

Продолжая кроить и сметывать, разрезая на столе материю и хрупая ножницами, Зоя задумалась. Постепенно она начала представлять себе всю фигуру бойца вот с этим мешком, который она только ещё кроила, за плечами. Она ясно видела его лицо, ей даже захотелось заговорить с ним, чем-то помочь ему. Если бы у нее были деньги, она обязательно вложила бы их в мешок для этого бойца — в дороге деньги могут пригодиться — или же купила бы для него подарок. Но денег нет. Тогда Зое пришла, как ей показалось, счастливая мысль: подшивать внутри мешка, у корешка тесемок, — так что сразу бросится в глаза — белый лоскуток и на нем что-нибудь написать химическим карандашом.

Первому бойцу она четко вывела крупными буквами: «Дорогой брат мой, уничтожай врага, добейся победы! Помни, что я все время думаю о тебе, я всегда с тобой!»

Эти слова очень растрогали Зою, понравились они и маме. Но Любовь Тимофеевна сразу же поняла, что для таких записочек не сыщется в доме достаточного количества белого материала и не хватит времени, чтобы их писать. Зое она ничего не сказала, — пускай пойдет ей на пользу первый радостный порыв, а потом Зоя поймет все сама — она ведь умница.

И Зоя поняла, для этого ей достаточно было двух мешков. Стало грустно... и еще нестерпимее захотелось закинуть за плечи этот самый мешок, набив его сухарями, и уйти туда... вместе с бойцами...

Больше работать! — вот самое главное, тогда будет оправдано и твое «сидение у печки». И Зоя, то стоя на ногах около стола, то сидя на табурете с иглой, кроила и сметывала, кроила и сметывала. И с утра до позднего вечера строчила, жужжала, точно неслась куда-то вперед, но оставалась, все время на том же самом месте, швейная машина, и надо лбом у Любви Тимофеевны мелко дрожала седеющая прядка волос в такт с движением руки, вращающей рукоятку швейной машины.

Порой под эти звуки для Зои вдруг начинала звучать, приходила из далекого далека

музыка... Эта музыка чем-то напоминала то, что когда-то (ах, как было это давно!) играл для нее в школьном зале Ярослав. И получалось как-то так, что один из этих мешков она шила для Ярослава... Ведь может же прийти в голову подобная глупость?! И тогда вдруг острой болью вторгалась в сознание горькая правда, и сейчас же навязчиво всплывало в памяти ночное бегство Сеницына. Зоя настойчиво гнала от себя музыку и старалась не думать о Ярославе.

В один из таких дней Любовь Тимофеевна спросила ее:

— О чем ты все время думаешь?

— О том, что я валяю дурака, о том, что мое настоящее место на фронте.

Любовь Тимофеевна как будто, совершенно спокойно выпрямилась перед швейной машиной, но она до боли в лопатках прижалась к спинке стула и побледнела. Она знала, что, если Зоя захочет что-либо очень сильно, она обязательно добьется своего. Звякнули отложенные на стол ножницы — Зоя тоже прекратила работу. Она намеренно уколола себя иглой в большой палец, как бы желая этим напомнить себе, что разговор предстоит слишком серьезный, — необходимо призвать все свое мужество, всю силу воли и не уступать.

— Мама, ты мне говорила, что я родилась в сорочке. Это верно?

— Верно.

— Я родилась счастливая! До сих пор мне все удавалось, особенно в последний год. Я верю, что добьюсь и этого!

Любовь Тимофеевна закрыла лицо ладонями, словно это движение могло что-то предотвратить, и тихо проговорила:

— Зоя, ведь ты же девочка...

— Мама! — Зоя поднялась со стула. — Ты мне говорила, что когда ждала первого ребенка — ждала мальчика, а не девочку. Правда это?

— Правда! Я даже не успела приготовить имени для девочки. Это папа назвал тебя Зоей.

— Знаешь что, мама? Давай считать, что твое желание сбылось, что тогда родилась не девочка, а родился тоже мальчик, — вот такой стриженный, каким ты его видишь сейчас перед собой, и что теперь у тебя два мальчика.

Любовь Тимофеевна тихо, беззвучно рассмеялась.

— Ну, вот мы и договорились! — сказала Зоя и, порывисто подойдя к матери, крепко обхватила ее руками и прижалась щекой к щеке, но в то же мгновение почувствовала, как ее обожгла горькая материнская слеза...

— Ой, мама, не надо! Не надо — я просто размечталась. Не будем больше об этом говорить.

Зоя поцеловала сначала одну руку матери, потом другую. Как изменились эти родные руки: исхудали и стали как будто даже легче, суше...

Но заставить себя кроить и сметывать мешки Зоя больше уже не смогла.

13

Неожиданно возвратился Шура. Свою улыбку он не позабыл на оборонных работах — привез с собой, но как он возмужал! Солнце оказывало ему в этом полное содействие, ветер тоже работал над ним старательно: Шуру обдуло со всех сторон и опалило. Он привез с собой в выражении лица что-то непередаваемое, но сразу наводящее на мысль о широких просторах, о ветре, облаках, о коротких дождях, проносащихся с шумом, об опасности и о тяжелом, но полностью удовлетворяющем тебя труде... Пиджак выцвел, и брюки понизу совершенно истрепались. Но это был гордый, спокойно смотрящий всем в глаза человек, ни в чем теперь не сомневающийся и знающий, что надо ему делать.

Сразу же, на второй день своего возвращения, он вместе с Зоей пошел на завод «Борец». Инструмент и станок словно с давних пор поджидали этого шестнадцатилетнего, не по возрасту широкого в плечах парня: они встретили его с полным дружелюбием, и никаких конфликтов у Шуры с ними не возникало. Старик мастер, к которому Шуру определили, тоже был доволен своим учеником и охотно занялся с ним, — через неделю он уже только изредка подходил к станку Шуры и, молча жуя корочку черного хлеба, минуты две наблюдал за его работой, потом проходил дальше.

Зоя тоже принялась старательно усваивать все, чему обучал ее мастер. Но она с первого же дня поняла, что эта работа — не для нее. Она чувствовала, что способна сделать что-то неизмеримо большее. Станок приковывал ее к месту, инструмент связывал ее движения, а ей хотелось на простор. Внутренний голос говорил ей, что своего настоящего дела она еще не нашла. Ни на одну минуту Зою не оставляло тревожное ощущение, что ее где-то ждут, совсем в другом месте.

Зоя отдавала себе отчет в том, что это чувство, может быть, усиливается еще и тем, что она не перестает скучать, тосковать по своим друзьям, по своим школьным товарищам, с которыми привыкла постоянно быть вместе. Совсем было бы иное дело, если бы здесь, рядом с нею, работали бы Петя Симонов, Лиза Пчельникова, Димочка Кутырин и другие из их класса... пусть бы здесь работали вместе с нею и Шурой даже Люся Уткина и Терпачев!

«А Ярослав?.. Где теперь Ярослав, чем он занят?»

Между тем положение на фронтах ухудшалось — дивизии Гитлера подходили к Москве все ближе и, казалось, совершенно неотвратимо.

Налеты немецкой авиации участились, они стали регулярными и как бы тоже неотвратимыми, как судьба. Это было замыслом немецкого командования, его

специальной заботой. Гитлер задался целью терроризовать столицу социалистического государства с воздуха, измотать население Москвы, раздавить волю человека, лишить его способности думать о чем бы то ни было, оставить ему лишь животный страх и стремление как можно глубже забраться в щель под землю. В самом деле, разве не тяжело было, только лишь начав раздеваться, чтобы лечь наконец в постель после длинного, утомительного рабочего дня, при скудном питании (а ведь завтра опять надо подниматься чуть свет на работу), — вдруг опять услышать над городом вопиющий зов сотен сирен и властный голос, сдергивающий с кровати: «Воздушная тревога! Воздушная тревога! Воздушная тревога!» И так каждую ночь, — с так называемой немецкой аккуратностью, — ровно в одиннадцать часов. Так было вчера, так было позавчера, так было всю неделю, и неизвестно, сколько еще продлится...

Москва, как прежде, стояла на своем месте — непобедимая, гордая... Но разрушения увеличивались и число жертв росло с каждым днем.

Вот прошло уже 1 сентября, а занятия в 201-й школе не только не возобновились, но даже само здание школы было отдано для какой-то воинской части. А Зоя так нетерпеливо надеялась опять встретиться со всем своим классом. Правда, говорили, что классы будут уплотнены и занятия непременно возобновятся в помещении другой школы, но надежды оставалось все меньше и меньше.

И вдруг неожиданная радость: комсорг школы собрал девятые и десятые классы в помещении 212-й школы. Опять все вместе! И собрались не для учебных занятий, а для дела куда более важного в данный момент, когда враг рвется к Москве.

Предстоит поездка в совхоз. Надо спасти урожай. В колхозах, в совхозах, в деревнях не хватает рабочих рук, — мало ли людей уже ушло на фронт! — не все еще убрано в полях. Недопустимо, чтобы то, что посеяли, то, что посадили, погибло бы на корню и гнило в земле, в то время когда население городов уже начинает испытывать недостаток в продуктах питания.

Зоя оформила расчет и ушла с завода, ее отпустили, а Шура не захотел расставаться со станком и остался на своем рабочем месте. Он был рад тому, что Зоя уезжает из Москвы, — теперь он будет меньше бояться за нее во время налетов. Но ему-то самому зачем же оставлять Москву? В совхозе он опять превратится в школьника, а на заводе он уже через несколько недель станет полноценным, полноправным рабочим. Шура нравилась его работа, да никто бы уже и не отпустил его с завода — ведь завод работал на оборону. Шура выточил уже не одну сотню пустотелых корпусов для мин.

Однако сердце его тоскливо сжалось, когда, придя на завод в свою очередную смену, он увидел, что у станка, где работала Зоя, стоит уже кто-то другой. После матери у него во всем свете не было никого ближе, чем сестра. Теперь, когда Зоя уехала, он каждый раз, придя домой после работы, прежде чем вымыть руки и сесть к столу, спрашивал мать: «Письма нет?»

В совхоз от 201-й школы уезжали 54 учащихся. К этой группе районный отдел народного образования присоединил несколько девочек и мальчиков из других школ района. Ирина тоже должна была ехать вместе с Зоей. Но накануне отъезда Ирина совершенно неожиданно появилась у Космодемьянских около одиннадцати часов ночи. Взглянув на ее лицо, Зоя сразу поняла, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Не обращая никакого внимания на то, что Любовь Тимофеевна уже лежит в постели, а Шура раздевается, Ирина переступила через порог, решительно взяла Зою за руку, проговорила: «Идем!» — и потащила ее за собой из комнаты.

В сенях, на площадке лестницы, было совершенно темно. Здесь Ирина, найдя плечи Зои ощупью, обхватила ее шею руками, прижалась лицом к ее груди и разрыдалась. Она не могла вымолвить ни одного слова... Слезы были такие обильные, что Зоя уже через минуту почувствовала их горячую влагу у себя на коже, сквозь сорочку. Зоя подумала — не пришло ли в семью Ирины известие с фронта о гибели близкого человека. А может, это случилось вчера здесь, в Москве, во время ночной бомбежки? Не Виктор ли? Но Ирина, кашляя от слез и заикаясь, начала говорить о чем-то другом: — Зойка, Зоя... ты меня станешь презирать... Прости меня... Я же ни в чем не виноватая!

Так и произнесла Ирина: «не виноватая», и от этой неправильности в речи в минуту такого душевного смятения она стала для Зои еще ближе и роднее.

— Меня не пускают! — продолжала Ирина. — Папа и мама говорят — надо нам всей семьей уезжать из Москвы. Евреям не будет никакой пощады. Гитлер проповедует уничтожение всех евреев, до единого человека, на всем земном шаре! Когда я сказала маме, что с ними никуда не поеду, а поеду с тобой в совхоз, она упала... Сейчас она лежит — у нее сердечный припадок.

Ирина кашляла, давилась слезами, шмыгала носом, на минуту отстранялась от Зои, чтобы высморкаться, потом припадала опять к ней и глухо бормотала ей в грудь: — Не презирай меня! Хочешь, я все-таки убегу с тобой? Я хочу всюду быть с тобой, только с тобой!..

Зоя ни разу в жизни не видела, чтобы Ирина когда-нибудь плакала, она и сейчас не видела ее лица, но от окружавшей их в сенях темноты состояние Ирины казалось Зое еще тяжелее, еще мучительнее. Ирина не унималась.

— Зоя, честное слово, я убегу с тобой, помоги мне! Я пойду за тобой, куда ты захочешь! — Ирина, куда же бежать? — сказала Зоя и погладила ее по голове, как маленькую. — Куда? Ведь каждому известно, что нас направляют в совхоз.

По голосу Зои Ирина почувствовала, что та тоже уже больше не может удерживаться от слез, точно навсегда хоронит и оплакивает их дружбу, и это заставило Ирину

разрыдаться еще сильнее.

Вдруг штаб противовоздушной обороны включил сирены, и над всей Москвой раздался голос, уже хорошо изученный миллионами людей: «Воздушная тревога!»

— Ирина! — властно сказала Зоя и оторвала ее от себя, потом снова прижала: — Иди, ты должна помочь своей маме. Иди! Прощай!

И девочки поцеловались в темноте... Ничего не видя, они нашли друг друга губами, и от этого прощального, смешанного со слезами поцелуя стало солоно на губах, как от вкуса крови. Это был первый их поцелуй в жизни и последний, последняя встреча и последнее прощание.

Никогда, казалось им, не вопили так истошно сирены, не надрывались так и не стонали гудки паровозов. Этот траурный, жуткий хорал, казалось, поднимается все выше и разливается шире, вот он уже захватывает поля и леса .. Словно вся вселенная оплакивала дружбу этих двух девочек-школьниц, двух московских подружек-комсомолок.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Осенние леса...

Воздух прозрачный, как ключевая вода. Тихо. Медленно падают листья, еще не просохшие от недавнего дождя: быстрее других падают светло-желтые, чуть-чуть с лимонным оттенком, листья березы; некоторые из них, прежде чем долететь до земля, быстро-быстро вертятся вокруг своей оси — вокруг того шнурочка, который делит их пополам и заканчивается черенком,- от этого они трепетно мерцают в воздухе: вспыхивают в луче солнца, пронзающем темные ветви елей, и гаснут, вспыхивают и гаснут; таких вертушек обгоняют при падении на землю более плотные, плоские, багряные листья осин; медленнее всех, степенно и плавно, как на парашюте, опускаются широкие листья кленов. Будто пропитанные золотистым медом, стоят самые светлые теперь во всем лесу, с выцветшими бледными листьями липки. Падая, листья порой не долетают до земли: они застревают на цепких, колючих лапках елочек, стоящих на светлых полянах, или повисают в воздухе, на невидимых глазу паутинках, опутывающих хвою елочек, и тогда кажется, что кто-то нарочно украшает елочки, готовится в лесу к какому-то еще не объявленному, неведомому осеннему празднику.

Как хорошо за городом! Зоя никогда в жизни ничего подобного еще не видела, потому что в Сибири, когда к началу учебного года она уезжала от бабушки, осень еще не начиналась и все деревья сохраняли свои летние одежды. Как прекрасен, оказывается, осенний лес... «Люблю я пышное природы увяданье, в багрец и золото одетые леса...» Иногда едва уловимый ветер тихо-тихо, боясь быть навязчивым, бережно прикасался к ее лбу и шевелил выбившуюся из-под берета прядку волос, как бы спрашивая Зою с ласковым упреком: «Почему же, дурочка, ты так долго не приходила сюда?»

А чем это так пахнет в лесу, так густо, настойчиво, свежо, ни на минуту не ослабевая? Все в лесу незримо работает, чтобы создать этот неповторимый, удивительный запах поздней осени, запах терпкого и пряного брожения, запах дождя, перебивающего всю эту вянущую листву и поникшие травы, и вдруг — запах острой свежести, как будто наступил ногой и раздавил огурец: сорви лист ладонника, круглый, как след от копытца жеребенка, разотри его в пальцах, понюхай. А грибы! Белые боровики, рыжики, опята, лисички... А брусника, костяника, волчьи ягоды, коралловыми пуговками сидящие прямо на коре волчьего лыка; а розовые, прозрачные у осени, как папиросная бумага, листья бересклета; а многолетний, благоухающий под ногами, как бальзам, толстый слой опавшей хвои, светло-серый олений мох и зеленовато-седые бородатые лишайники, свисающие с затененных нижних ветвей старых елей! Вот все это, вместе взятое, и множество других неуследимых мелочей и создают незабываемый запах подмосковной осени.

От железнодорожной станции до совхоза «Заря» № 2 — двенадцать километров, но ребята — мальчики и девочки — прошли это расстояние без труда и даже набрали грибов на ужин, не останавливаясь, не задерживаясь, а прямо-таки на ходу. После суровой московской жизни с ее тревожными ночами, с воплем сирен, прерывающим сон, когда начинает казаться, что тебе больше уже никогда в жизни не дадут выспаться вволю; после езды в душном, переполненном вагоне, где пассажиры при любом подозрительном звуке вдруг вскакивают с мест и высовываются в окна, — ведь немцы то и дело бомбили подъездные пути к Москве, — после всего этого ребятами была воспринята как нечаянный, благословенный подарок поразительная тишина осеннего леса и сказочно красивая дорога под укрытием празднично, ярко разодетых деревьев, дорога, изредка выходящая под открытое небо, в небольшие поля с их тоже необыкновенно яркими, изумрудными всходами озими.

Даже Люся Уткина дошла до совхоза без особого труда. Зоя вообще удивилась, что Уткина еще в первые же дни войны не эвакуировалась куда-нибудь подальше от Москвы. Теперь здесь, в совхозе, собрался вместе почти весь класс: не только Терпачев и Шварц, сюда доехали и дошли и Тася Косачева и Ната Беликова. Зоя была очень довольна — опять все вместе! Пускай будут здесь и Люся, и Терпачев, и Беликова — хорошо, когда все вместе.

В первый вечер ни у кого не было сил устраиваться как следует: наспех поужинали, кое-как разместились и поскорее повалились спать.

2

Правление совхоза отвело для прибывших из Москвы ребят две большие бревенчатые избы, просторно стоявшие посреди совхозной усадьбы: их разделяла одну от другой небольшая площадь (метров сорок в поперечнике), совершенно размятая и разжеванная гусеницами тракторов и теперь, после недавних дождей, ставшая почти непроходимой от грязи. В той избе, что побольше, поселились мальчики, избу поменьше отдали девочкам. Как раз посередине между жильем мальчиков и девочек стоял колодец с барабаном на двух столбах и с длинной цепью, накрученной на барабан, при помощи которой опускали вниз ведро и вытаскивали из темных недр земли ледяную воду кристальной чистоты.

Возле низенького сруба колодца с первых же минут прибытия москвичей начал раздаваться смех, то и дело звякала цепь о железное ведро и кто-нибудь из мальчиков или девочек просил:

— Дай напиться!

— Оставь чуть-чуть, не выливай — я умоюсь.

— Ой, девочки, это же лед: зубы ломит хуже мороженого!

— Таня, иди сюда! Хочешь получить ангину? Выпей глоточек!

— Я буду по утрам каждый день обливаться этой водой!

Немного в стороне, среди молодых березок, сейчас уже почти голеньких, отдавших свою листву ветру, вытянулось длинное серое здание кухни — тоже бревенчатое, и под одной с ней кровлей — столовая. Тут же, под этой же крышей, была и комнатка поварахи Семеновны, известной в обоих совхозах («Заря» № 1 и «Заря» № 2) замечательными умением выпекать черный подовый хлеб на подстилке из кленовых листьев.

Еще дальше, за столовой, виднелись такие же серые кровли, крытые потемневшей от времени мелкой еловой дранкой: это вытянулись по линейке хозяйственные сараи, амбары, конюшни, овощехранилище и навесы для сельскохозяйственных машин и тракторов, уже переброшенных в «Зарю» № 1 и подготовленных для эвакуации дальше. Вся усадьба была обнесена загородкой из неошкуренных березовых жердей — покотиной, вдоль которой густо пробивалась, вперемежку с ольхой, березовая поросль, низенькая пока еще, как кустарник. А дальше уже шли небольшие поля совхоза, и все это — избы, отведенные москвичам под жилье, столовая, сараи, погреба и амбары, огороды и поля — охвачено было сплошным кольцом леса, заметно уже поредевшего, теряющего листву, но еще звонко расцвеченного осенними,

недолговечными красками.

Рабочие совхоза жили в двух небольших деревеньках — всего в несколько дворов каждая: Люботино и Скворцы, — до одной из них от столовой не больше полутора километров, а другая и того ближе: метров восемьсот. Большинство мужчин из этих деревень уже ушли на фронт или же были переброшены заканчивать уборку урожая в совхоз «Заря» № 1-в семи километрах отсюда, где находилась и основная для обоих совхозов контора.

В Люботине и Скворцах остались почти одни только старики и старухи да многодетные семьи с матерями, целиком поглощенными своим домашним хозяйством. Главную же рабочую силу совхоза «Заря» № 2 теперь составляли семнадцатилетний бригадир Миша, он же известный птицелов и голубятник, и его помощницы — шесть девушек-комсомолок, среди которых выделялись две замечательные певуньи, сестры Агейкины: у Даши — сопрано, а у Лизы голос пониже и посильней, чем у Даши. Сестры всегда и всюду держались вместе, не расставались: и работали в паре, и пели не иначе как на два голоса.

Бригадир Миша и все его девушки москвичей встретили приветливо, но настороженно: как-то еще московские ребята покажут себя в поле со своими чистыми, белыми, ненапруженными руками? Ведь начиналась пора затяжных дождей.

Шел дождь и всю первую ночь, не такой уж большой, но всю ночь напролет. Рано утром перестал было ненадолго, словно лишь для того, чтобы ребята смогли спокойно умыться возле колодца, а потом принялся наверстывать упущенное: целый день разжижал грязь на площади, вокруг изб и на проселочных дорогах, отяжелял в лесу осенние листья, сбивал их на землю. Серая дранка на крышах изб набухла и потемнела еще больше.

А картошка с поля еще не была убрана. Николай Иванович с тревогой поглядывал на небо и на ноги ребят. Обувь плоха!.. Районо обязало Николая Ивановича сопровождать ребят в совхоз, он должен был отвечать за жизнь каждого из них, за их здоровье и за всю их работу в совхозе. Мало того, что идет дождь, — термометр, прибитый на столбике, поддерживающем навес у входа в столовую, показывал всего только шесть градусов тепла.

Это был тяжелый день, полный горьких разочарований! Димочка Кутырин назвал этот день «черной пятницей». Никто из ребят не выполнил нормы, не выполнила ее и ни одна из бригад.

Во время обеденного перерыва Зоя, принимая из рук Семеновны через окошечко, проделанное в стене кухни, тарелку со щами, слышала, как на кухне мать Миши-бригадира сказала Николаю Ивановичу, наблюдавшему за тем, как идет раздача обеда: — Ваши барышни и кавалеры умеют только танцевать. Белоручки! Посмотрела я на ихнюю работу в поле — боятся руки замарать. Зачем вас только прислали? Объедите вы

нас и уедете!

В самом деле, провал был полный. На собрании все взяли на себя обязательство выполнять норму: по десяти мешков на каждого человека, а когда вышли в поле, один только Димочка Кутырин смог накопать шесть мешков, остальные же намного меньше. Такая же неудача постигла бригаду Кати Арефьевой и все остальные бригады москвичей.

Между тем в бригаде работников совхоза, у Миши-птицелова, сестры Агейкины вдвоем сдали на весы тридцать три мешка: Даша — шестнадцать, а Лиза — семнадцать, и не было у них ни одной девушки, которая накопила бы меньше пятнадцати мешков. Да и как было выполнить норму, если перед выходом в поле пришлось сразу же освободить от работы двенадцать человек: у некоторых не было калош — пришли в одних туфельках, у других после перехода от железной дороги до совхоза начали отрываться подошвы изношенной обуви.

Тяжел был первый день в поле: ноги вязли в размокшей земле. У Зои то и дело соскакивали калоши, точно какая-то ехидная сила старалась цепкой рукой сорвать их у нее с ног. Зоя теряла то одну, то другую калошу и забывала об этом. Раза два ее калоши находила Лиза Пчельникова, работавшая рядом с нею. А вытереть ноги было нечем: кое-как обтерев мокрой ботвой, прибитой дождями к земле, Зоя опять засовывала их в калоши, где и без того было уже полно грязи. Через полтора часа такой работы ноги совершенно промокли.

Разгибаясь для минутного отдыха, Зоя видела: то же самое происходит и у других девочек и мальчиков. Лиза Пчельникова чулки выпачкала почти до колен; полы ее пальто тоже волочатся в грязи, когда Лиза, присев, выковыривает из земли щепкой картошку. Так же робко, как Лиза, оберегая свои руки, начали и все остальные: освобождали картошку от грязи кто палочкой, кто щепкой или же носком ботинка, после того как Миша-бригадир пропашет борозду плугом и выворотит клубни из земли наружу. Но разве так выполнишь норму? Постепенно перестали беречь руки и начали забывать про грязь.

А тут еще холодный ветер. Стягивало ознобом кожу лица, и нестерпимо стыли пальцы. На ветру приходилось лезть грязной рукой в карман за платком, чтобы высморкаться, — в конце концов грязным становился и сам платок, и нос, и лоб — все лицо, потому что за целый день ведь захочется же почесать на ветру то лоб, то щеку, то за ухом. У Зои совсем окоченели руки, и плохо сгибались, не слушались пальцы, когда надо было расправлять горловину мешка, перед тем как насыпать в него очередную порцию выбранной из борозды картошки. Очень стыла спина, стыли колени, — коричневое пальтецо на Зое было не из теплых, а полы его, когда она нагибалась за клубнями, распахивались.

— Хорошо совхозовским девушкам, — сказала Лиза Пчельникова, — они все в

ватниках!

Зоя выпрямилась и посмотрела в их сторону: девушки работали быстро, споро, ловко. Особенно сестры Агейкины: головами друг к другу, — Даша в одной борозде, Лиза в яругой. И почти все время поют. Удивительно! Поют, когда выдается свободная минутка, повернувшись к ветру спиной, пока Миша подвезет пустые мешки, поют и работая, согнувшись в три погибели над клубнями. Да какие же все хорошие у них пески, и до чего же чисто поют, стройно, душевно:

...Не шуми ты, рожь.

Спелым колосом!

Ты не пой, косарь,

Про широку степь..

Или...

Что стоишь, качаясь,

Тонкая рябина,

Голову склонила

До самого тына...

И так почти весь день. Чудесно получаются у них и комсомольские песни:

Дан приказ: ему — на запад,

Ей — в другую сторону.!

Уходили комсомольцы

На гражданскую войну.

В местах особенно чувствительных им начинают подпевать другие девушки из совхозовской бригады.

Виктор Терпачев с завистью сказал про сестер Агейкиных:

— Жарят, собаки, без перерыва, как по радио!

В совхозе Терпачев стал еще более грубым, чем был в Москве. Работал он ездовым, так же как Петя Симонов: наваливал на телегу мешки с картофелем и отвозил их к весам, сдавал Саше Аптекарю. Петя возил на белой молодой кобылке, Терпачев — на черном высоком, худощавом коне. Их обоих назначили на эту работу вчера на собрании.

Никого не удивило, что Петя сам попросился на телегу, в ездовые: уж если он справлялся на школьном участке со слепым конем Буркой, то со зрячей лошадей управится в поле и подавно. Но что надо было Терпачеву, когда он попросил доверить коня и ему?

Петя Симонов всех рассмешил на собрании, он спросил Терпачева:

— А что же будет делать твой Шварц? Бегать за твоей телегой вместо жеребенка?

Теперь, в поле, стало ясно, почему Терпачеву так неудержимо хотелось взять вожжи в руки.

Петя жалел лошадь: он требовал, чтобы сборщики помогли стронуть с места тяжелый, вязнувший в грязи воз, и сам подталкивал воз, налегая плечом на грядку телеги; возвращаясь от весов порожняком, он пускал кобылку вольным, неторопливым шагом, давал ей отдохнуть. А Терпачев — то усядется поверх груженого воза, на самую маковку, то соскочит, то вновь заберется наверх, а возвращаясь с пустой телегой, стоит на ней во весь рост и, нахлестывая кнутом коня справа налево, гонит рысью, по колдобинам и бороздам еще не убранного поля.

Поравнявшись с участком, где работала бригада девушек из совхоза, Терпачев, кокетливо играя своим тенорком, начинал петь какой-нибудь душещипательный романс, вроде «Белой акации гроздь душистые» или же пародию на романс «О, эти черные глаза меня пленили»:

О, эта серая коза
Из нашего совхоза
Дает пол-литра молока
И воз навоза!

Зою Терпачев старался изводить тем, что делал вид, будто сейчас ее задавит, — направлял лошадь прямо на нее или же, как будто нечаянно, проедет колесами по собранной ею в кучку картошке. Он совсем распоясался, стал нарочито небрежен, подъезжал к мешкам так, что лошадь могла до них дотянуться; пытаясь ухватить картофелину, лошадь рвала зубами мешковину, — собранная с таким трудом картошка опять вываливалась на землю.

Зое и без того было тяжело: ноги мокрые, начинался насморк, ветер пронизывает до озноба, руки окоченели, и пальцы слушаются все хуже и хуже. Несколько раз Зоя предупреждала Терпачева, просила его не паясничать, потом не вытерпела — накричала на него и погрозила, что даром ему это не пройдет.

— Космодемьянская, ты это знаешь брось! — ответил ей Терпачев. — Здесь тебе не Москва, не школа. Что ты из себя изображаешь?

По своей собственной работе, по тому, сколько она смогла собрать картошки, Зоя понимала, что ни в одной бригаде сегодня норма выполнена не будет. А ведь она очень старалась. Очень! Она чувствовала, что и завтра норма не будет выполнена, и послезавтра.

Так не спасешь урожай — он останется в земле.

Эти мысли угнетали Зою. Посоветоваться сейчас было не с кем: друзей нельзя отрывать от работы — и так никто не справляется, пускай уж соберут, сколько смогут, — а Николая Ивановича нет. До обеда его фигуру в черном, развевающимся на ветру плаще, то ныряющую в борозду, то взлетающую на ее гребень, можно было видеть то там, то здесь — по всему полю. Его точно ветром носило от одной бригады к другой, распахнутые полы плаща трепались за его спиной, как крылья огромного грача. Он старался ободрить ребят, не давал упасть духом. Но после обеда приехал из «Зари» № 1 верховой — Николая Ивановича вызывали в правление совхоза, что-то там согласовывать по поводу питания ребят. Он возвратился, когда было уже совершенно темно.

4

Под вечер опять пошел дождь. Еще можно было бы работать — свет позволял, хотя дни стали короткие. Совхозовские девушки так и делали в своих серых ватниках, продолжали убирать картошку и под дождем. Но москвичи начали уходить с поля, ни у кого не спросив разрешения. И ни Катя Арефьева, и никто из бригадиров не пытался их остановить. Ничего не стала говорить им и Зоя, но сама продолжала работать. Остались в поле и ее друзья: Лиза, Петя, Димочка и Коля Коркин. Когда начало смеркаться, Зоя и Катя Арефьева подошли к трем дубкам, к учетчику. Саша Аптекарь встретил их раздраженно:

— Где же остальные бригадиры и где ваши ребята? Почему вы их отпустили? Значит, картошка в куче всю ночь будет под дождем? А как же потом ее мокрую закладывать в ямы, — вы об этом подумали? Какие же после этого вы бригадиры?! У нас вместо работы получается что-то вроде оперетки «Барышня-крестьянка».

Зоя вспыхнула:

— А что-нибудь более пошрое ты не можешь придумать? Очевидно, тебе не дают покоя лавры нашего Терпачева!

Но на Сашу Аптекаря это не подействовало. Проведя рукой ото лба к затылку по своим мокрым волосам, он сказал:

— А вам известно, что совхозовские девушки выработали больше пятнадцати мешков на брата? А из вас никто больше шести не сдал на весы.

— Ну, Катя, что мы будем делать? — спросила Зоя Арефьеву.

Катя ответила:

— Этот же вопрос я могу задать и тебе.

— Но ведь ты же комсомолка! — сказала Зоя.

— А ты разве беспартийная?

Дождь пошел сильнее. Налетел резкий порыв ветра и принялся трепать дубки,

безжалостно выкручивать им ветки. Сорванные с них листья, обгоняя друг друга, полетели далеко-далеко, как испуганные птицы, точно они надеялись, что смогут еще догнать где-то лето и согреться в лучах солнца.

В стороне послышалось шлепанье шагов по грязи: кто-то подходил к дубкам, натянув серый плащ на голову, так что нельзя было догадаться — кто же идет? Когда загадочная фигура дошла до самых дубков и обнажила голову, оказалось, что это Димочка Кутырин.

— О чем, мудрецы, задумались? — спросил он.

— Непосильная норма! — сказала Катя Арефьева. — Мы с тобой, Космодемьянская, ошиблись. Нельзя было соглашаться на такую норму.

— Ничего подобного! — в один голос сказали Зоя и Димочка.

— Чепуха! — поддержал их и Саша Аптекарь,

— Если мы снизим норму, — сказала Зоя, — мы позорно оскандалимся, ребята еще больше разболтаются. Просто мы еще не привыкли, в этом все дело: боимся грязи, боимся дождя.

А дождь все усиливался.

— Давайте без паники! — сказал Саша Аптекарь. — Помогите закрыть кучу.

Воспользовавшись стволом среднего из трех дубков как опорой, Саша Аптекарь, Димочка Кутырин, Зоя и Катя соорудили над кучей собранной за день картошки что-то вроде шатра из тех досок и теса, которые были приготовлены для того, чтобы обложить ими стены ям — будущего хранилища для картошки.

5

Ужинали молча. Все были голодны и страшно утомлены, все продрогли и сидели с мокрыми ногами. Хотелось поскорее согреться горячей пищей, стащить с себя все, к чему налипла грязь, что пропиталось дождем, и забраться на сухую солому, под одеяло...

А из кухни через подвальное окошечко проникал благословенный запах, обещавший всем долгий спокойный сон: пахло густым парным молоком и отварной картошкой, такой горячей, что паром от нее било в низкий потолок столовой, как из трубы паровоза; боже мой, а как пахло от ломтей знаменитого хлеба с тмином на корочке, от хлеба, испеченного Семеновной на широких душистых кленовых листьях!

От горячей пищи скоро всех разморило — начинали слипаться глаза, даже свет маленькой керосиновой лампочки и тот казался сейчас слишком ярким, — до того устали раздуженные ветром, воспаленные глаза. Зато как тепло, чисто, уютно показалось в спальнях. Грязную обувь условились снимать сразу же на пороге. Девочки завалили сложенную посреди избы из кирпича теплую небольшую печку-

временку туфлями, калошами, мокрыми ботинками и развесили на веревочке вдоль ее железной трубы мокрые, грязные чулки. Тоскливо запахло сырой кожей, потом и глиной. Раздевались тоже молча и торопливо. Стало слышнее, как хлещет по дранковой крыше и обмывает окна дождь. Но как только девочки забрались на соломенные матрацы, чуточку угрелись и отдохнули, расправили косточки, потянулись под одеялом, — все вдруг сразу стали разговорчивыми.

Первой заговорила Люся Уткина:

— Если и завтра будет дождь, убейте меня, я не пойду в поле!

— Никто не пойдет! — сказала Ната Беликова.

А дальше уже трудно было разобрать, кто что говорит. Тот, кто уже начал было дремать, снова встрепенулся на нарах и принял участие в дискуссии сидя.

— Что ж ты молчишь, Космодемьянская? — начала приставать к Зое Люся Уткина. —

Ведь это вы с Арефьевой согласились на такую идиотскую норму! Что же ты отмалчиваешься? Тебе опять надо соваться вперед и доказывать свой героизм? Зоя сказала, стараясь быть сдержанной, хотя внутри у нее все бушевало от негодования:

— Совхозовские девушки, в бригаде Миши, почему-то в любую погоду собирают не меньше пятнадцати мешков в день, а наша норма только десять мешков.

— Довольно! — перебила Зою Уткина, точно она нарочно искала ссоры с ней. —

Довольно! Нам известно наперед все, что ты скажешь. Сейчас ты начнешь всех нас убивать наповал цитатами из книги Островского «Как закалялась сталь»!

— Нет! — сказала Зоя. — Я буду цитировать тебя, а не Островского. Ты уже забыла, что ты обещала в Москве, на комсомольском собрании? Помнишь, когда ты удрала от работы в школьном саду? Что ты нам обещала? Забыла? Ты плакала и клялась, что будешь работать над своим характером.

Постепенно все девочки замолчали, стало тихо, говорила одна только Зоя:

— Что-то я не вижу перемены в твоем характере, Уткина. Я вообще не понимаю, зачем ты сюда приехала? В первый же день работы ты начинаешь всем мешать в нашей бригаде.

— Могу тебя успокоить, — язвительно сказала Уткина. — Завтра я уже не буду в твоей бригаде, я попрошу Николая Ивановича, чтобы он перевел меня в бригаду Кати Арефьевой.

— Спать! Спать! Спать! — закричала Катя. — Утро вечера мудренее. Ужасно хочется спать — сил моих нету! Может быть, завтра будет ясное солнышко, а мы почему-то уже начинаем раскисать. Не сахарные — просто еще не привыкли. Спать! Спать! Спать! И Катя Арефьева бросилась на скрипнувшие под нею нары и натянула одеяло на голову, только аккуратно заплетенная на ночь коса ее осталась торчать наружу. Но тотчас же Катя вскочила вновь, отбросила одеяло на ноги и сказала с горячностью:

— Тебе, Уткина, не мешает помнить, что немцы каждую ночь бомбят Москву.

Наступило молчание. Зоя нахмурилась. Помолчав, Катя добавила:

— Между прочим, когда идет дождь, то в окопах тоже никто не сидит под зонтиками. В общем, Уткина, переходи в какую-нибудь другую бригаду, только не в мою! Я не хочу, чтобы ты была в моей бригаде.

В это время дверь внезапно распахнулась, и Терпачев, не постучав и не попросив разрешения войти, появился на пороге. Катя повалилась навзничь и торопливо старалась закрыть голые плечи одеялом. Девочки закричали сразу в несколько голосов:

— Убирайся!

— Нахал!

— Надо сначала стучать!

В этом шуме не слышно было, что говорит Терпачев. Глядя на Уткину, он делал ей какие-то знаки пальцами, потом отступил с порога в темные сени и закрыл за собой дверь. Люся быстро натянула на себя платье, выбрала из общей кучи чьи-то калоши, но так как они были мокрые, брезгливо сбросила их, потом все-таки надела, стащила с матраца свое одеяло и, накинув его на плечи, вышла в сени «след за Терпачевым.

Она пробыла там совсем недолго, но все так устала, что, когда Люся вернулась, многие уже успели заснуть. Зоя не могла заснуть. Уткина старалась держаться спиной к свету, но Зоя все-таки заметила, что у нее заплаканные глаза. Когда она сбрасывала возле времянки калоши, Зоя увидела ссадины на ее ногах, на самых щиколотках. Зое стало жаль Уткину, она спросила:

— Ты растерла ноги?

Уткина зло ответила:

— Не подлизывайся ко мне — не поможет!

У Зои у самой болела нога — она растерла ее под мокрым чулком тоже на щиколотке — и спина болела так, что трудно было напнуться, чтобы снять обувь. Ее сильно знобило, и все лицо горело, а глаза так намучил ветер, что даже моргать было больно. Давно у нее не болела так голова, казалось, что именно эта головная боль не позволяет ей сосредоточиться и додумать до конца: что же необходимо предпринять? Что? Собрать завтра комсомольцев? А что им предложить? Нет, рано еще... Что-то еще не готово, разговаривать пока еще не о чем, — будут одни только жалобы и нытье.

Опять открылась дверь. Сначала просунулась в избу пустая ивовая плетушка-кошелка, в которой на кухню приносили для варки картошку, потом уж переступила .порог повариха Семеновна, покрытая с головой, как монах капюшоном, грубым крапивным мешком, сложенным вдвое и закрывавшим от дождя не только голову, но и всю широкую .спину Семеновны.

Уверенная, что все девочки спят, Семеновна тихо собрала с остывшей печурки в

кошелку всю обувь и сняла с веревочки чулки. Уходя, она ласково, заботливо окинула взглядом широкие нары. Увидев, что у одной из девочек открыты глаза, она опросила ее:

— Кто у вас завтра дежурный?

— Я! — ответила Зоя.

— Смотри не проспай! Как начнет развидняться, заберешь на кухне с печки всю вашу обувку. Да чтоб так-то каждую ночь клали с вечера. Для вас издеся наньков нету — самим соображение иметь надо!

Семеновна ушла, но минут через пять она вернулась и поставила возле Зои, которая все еще никак не могла заснуть, разношенные, широкие босовики — головки, отрезанные от валенок и наподобие калош обклеенные резиной, красной, как гусиные лапы.

— Это для дежурных, — оказала она. — Смотри, чтоб целы были, берегите! А то в чем же ты пойдешь чуть свет за обувкой на кухню? Опять же все за вас соображать приходится. Принесла вас нелегкая на нашу голову!

6

Кто-то постучал в окно.

Была глубокая ночь. Зоя спала крепко, но все-таки не так непробудно, как остальные девочки, потому что наступила ее очередь дежурить. Она первая услышала стук.

По крыше не переставая шумел дождь. Пока Зоя надевала платье, стук повторился, но стучали теперь не в окно, а в дверь. Слышно было, как чья-то рука шарит в темноте, шуршит по двери, ищет скобу.

— Подождите! — вполголоса сказала Зоя.

Она быстро застегнула пуговицы, прибавила фитиля в совсем было затухшей лампочке и босая подошла к двери, чутко прислушиваясь.

— Кто стучит? — опросила она.

— Зоя, это я!

Зоя откинула крючок. В сенях стоял Ярослав! Переступив порог, Зоя быстро закрыла за собой дверь, как будто от света лампочки Ярослав мог исчезнуть, как привидение. А Зое теперь хотелось, чтобы он не исчезал, а существовал бы всегда. Ей хотелось обнять его, вот такого невидимого в абсолютной темноте сеней, мокрого с головы до пят. Достаточно было одного мгновения — пока приоткрытая дверь пропустила свет лампочки, и Зоя теперь видела Ярослава даже в темноте, наизусть, словно при вспышке молнии она успела сделать моментальный фотографический снимок: на размокшем, смятом козырьке кепки висит капля дождя, черный мокрый плащ газ полупрозрачной пластмассы сверкает, как тяжелая броня, вода стекает на высокие,

заляпанные грязью сапоги тонкими струйками; даже исхудавшее лицо Ярослава, озябшее и воспаленное от ветра, тоже мокрое. В сенях сильнее, чем в избе, слышно, как плотно, ровно шумит дождь по дранковой крыше.

— Я тебя ждала! — сказала Зоя.

Теперь и для нее самой это стало совершенно ясно, хотя раньше она не признавалась себе в этом и даже гнала от себя подобную мысль. Она протянула в темноту свои руки и тут же наткнулась, встретила протянутые к ней ледяные, мокрые руки Ярослава.

Когда его руки немного согрелись в ее руках, она спросила:

— Не понимаю, как же ты мог в такую ночь найти нас?

— А я еще не всех нашел. Где же остальные, где Петя Симонов, Димочка, где Шура?

— Шура работает в Москве на оборонном заводе, остальных сейчас увидишь — я тебе покажу, где они спят.

7

Еще не начинал брезжить поздний осенний рассвет, Зоя принесла из кухни высохшую за ночь обувь. Сильно похолодало, зато дождь прекратился совершенно. На востоке, между разрывами быстро бежавших облаков, кое-где даже показалось чистое небо и блеснули две-три звездочки.

После внезапного появления Ярослава Зоя уже не могла заснуть, но чувствовала себя совершенно выпавшейся, бодрой, головная боль исчезла без следа, и под утро она уже не сомневалась, как ей надо действовать, - все это было так ясно, что она даже шлепнула себя ладонью по лбу и сказала: «Зойка, какая же ты дурочка, ведь все это само собой разумеется!»

Прежде всего надо понять, почему получается у сестер Агейкиных, научиться работать так, как они работают, а затем сегодня же отправиться в обе деревни — в Скворцы и Люботино — и раздобыть хоть какую-нибудь обувь. Ведь принесла же Семеновна для дежурных какие-то жалкие опорки, а как чудесно шагать в таких «мокроступах» по непролазной грязи.

Взглянув на часы, Зоя подняла маскировочные шторы и принялась будить девочек:

— Подъем! Подъем! Девочки, подъем! Дождя нет, ботинки уже высохли, только чулки перепутались — никак не могу свои найти. Подъем!

Кое-кто из девочек пошевелился, некоторые даже начали потягиваться и что-то ворчали спросонья, но вставать никому не хотелось, — уж очень просквозило вчера ветром, жаль было расставаться с теплом. Зоя вспрыгнула босыми ногами на топчан и принялась делать зарядку. Нары заходили ходуном у нее под ногами, - девочки закачались на досках.

— Кто это начал психовать? — спросила Уткина, высовывая заспанное лицо из-под

одеяла. — Ну, конечно, это опять Космодемьянская показывает нам пример, как должна себя вести идеальная комсомолка!

— Чего ты к ней придираешься? — сказала, позевывая и сладко потягиваясь, Катя Арефьева. — Ведь она же дежурная и должна всех поднять.

Тотчас же вскочила и Катя, она тоже начала делать зарядку, стоя на нарах. Теперь уж — хочешь не хочешь — проснешься поневоле: нары скрипели и ерзали из стороны в сторону.

Взбудораженная зарядкой, Зоя не утерпела и сказала Лизе Пчельниковой о том, что пришел Ярослав Хромов, но на Лизу это не произвело никакого впечатления, а Люся Уткина, услышав эту новость, сказала:

— Сегодня же поймет, что сделал глупость: отсюда бежать надо!

— Ну и беги, пожалуйста, тебя никто не держит! — сказала Зоя.

— А вот возьму и убегу!

8

Сегодня, как будто именно по случаю прибытия Ярослава, дождя не было весь день, до захода солнца, но грязь после непрерывного ночного дождя, переходившего в ливень, стала еще глубже, тяжелее и неотвязнее. С самого утра уже не двенадцать, как вчера, а восемнадцать ребят пришлось освободить от работы — еще у шестерых отодрались подметки.

А сестры Агейкины опять, чуть забрезжило, пели на два голоса, и опять их песни удивительно подходили ко всей окружающей природе, входили в открывавшуюся перед глазами картину ее основной краской; казалось, что все слушает с дружелюбным одобрением неутомимые голоса сестер: сильно поредевший от ночного ливня лес, с которого почти полностью уже смыло всю его позолоту, киноварь и светлую охру, слушают серые с просинью облака, слушает проселочная дорога. Почему-то даже грачей, садящихся в борозду следом за Мишиным плугом и, как санитары в черный халатах, очищающих почву от червей, личинок и гусениц, даже грачей больше всего вьется около сестер Агейкиных.

Зоя как только услышала:

Что стоишь, качаясь,

Тонкая рябина,

Голову склонила

До самого тына... —

сразу пошла на тот конец поля, потянулась на голоса сестер, как на огонек.

Пристально наблюдая за тем, как они собирают картошку, Зоя подумала: «До чего же

все это просто, странно, что я сама не догадалась об этом».

Сестры, стоявшие в двух бороздах, одна против другой, одновременно, как по команде, наклонялись и разом, не боясь грязи, засовывали свои руки глубоко под куст, почти целиком вывороченный Мишиным плугом на поверхность. При этом они все время встряхивали клубни руками, земля проваливалась у них между пальцами, осыпалась, а картошка — вот она: бери и обрывай с ботвы — теперь она твоя!

— Учишься, москвичка? — раздался за спиной голос Миши. — Учись, старайся! А моих девчат вам все равно не догнать.

Он пропахивал очередную борозду метрах в десяти от Агейкиных.

— Почему не догнать? — Зоя начала перешагивать через ботву, пытаясь подойти к Мише ближе, но тут же увязла в борозде и потеряла обе калоши.

— А вот по этому по самому вам и не догнать мою бригаду, — сказал Миша и, остановив лошадь, помог Зое найти калоши. — Правильно моя мать говорит: вам в этих туфельках только танцевать можно, да и то не у нас, а на паркете. Садись на плуг, я тебя научу, как надо обуваться.

Миша вымолотил грязь из Зонных калош, вернул их ей, а сам достал из кармана ватника пеньковую бечевочку и перетер ее о ребро лемеха, разрезал надвое. Этими бечевками Миша крепко-накрепко привязал калоши к ногам Зои, переплетя бечевочку крест-накрест за пяткой, чтоб не соскочила.

— Теперь можешь шатать до самой Москвы — не сорвется!

Пока Миша привязывал калоши, Зоя рассказала ему о своем плане собрать в деревнях рабочую обувь.

— Так у меня же дядя в Скворцах сапожник! — сказал Миша. — Приходи после ужина со своими комсомольцами — я вас провожу.

Радостная и уже уверенная в победе, Зоя пошла на другой конец поля, к своей бригаде. Но здесь ее ожидал удар: ребята успели убедить Николая Ивановича, что норма в десять мешков невыполнима.

Обидно было то, что даже друзья Зои были против нее. Ну пускай бы говорили Люся Уткина, Ната Беликова, Шварц с Терначевым, пусть бунтовала бы и Катя Арефьева, а то ведь вместе с ними и Димочка Кутырин и Петя Симонов. Петя даже оказал:

— Зойка, не лезь в бутылку! Я — потомственный огородник, слушай, что я говорю: лучше перевыполнять план, чем не выполнять его. Это — во-первых! (Петя загнул один палец.) Восемнадцать человек болтаются без обуви. Это что такое? Это-во-вторых! (Петя загнул второй палец.)

Договорить ему не дал Терпачев. Он сказал:

— Хотя наш Петя умеет считать только до двух, но он безусловно прав!

Никто не хотел больше слушать Зою. Она добилась только одного: Николай Иванович одобрил ее предложение составить из добровольцев две бригады и отправить их на

поиски обуви: одна бригада пойдет в Скворцы, другая — в Люботино.

Терпачев никуда не пошел, остался в спальне — у него были достаточно крепкие ботинки с калошами. Зоя, узнав о том, что он остается, спросила Люсю:

— Само собой разумеется, Люся тоже не пойдет?

— Да, не пойду просить милостыню, как нищая! — ответила Уткина.

9

Зоину бригаду в Скворцы повел Миша. Без него дорогу не нашли бы — такая стояла темь. Уж действительно «хоть глаз выколи» — все равно глаза не помогают. Как ни напрягала их Зоя, не было никакой возможности выбрать под ногами сколько-нибудь сухое место.

Зоя чувствовала, что следом за нею идет Ярослав, порою, когда он оступался, до нее даже долетали брызги из-под его ног. Впереди, следом за Мишей, шла Лиза Пчельникова, где-то сзади чмокали грязью Петя и пожелавший разделить с ними прелесть такого путешествия Саша Аптекарь, шутивший, что без его учета они обсчитаются: две пары обуви им дали или три, либо вся обувь будет только на одну левую ногу.

Напрасно Зоя надеялась, что по дороге в Скворцы ей удастся поговорить с Ярославом, услышать от него подробности — где он был, что видел... В совхозе не удалось это сделать: Зоя не хотела уединяться с кем бы то ни было и хотя бы в чем-то отделять себя от остальных товарищей, да и попросту не было для этого времени-сегодня она была дежурная.

А сейчас все внимание было сосредоточено на том, куда поставить ногу, — идти рядом невозможно, все растянулись цепочкой, думая только о том, как бы не споткнуться и не попасть в какую-нибудь яму. Раза два Зоя пробовала опрашивать Ярослава о его поездке на Урал, но, чтобы услышать его ответ, приходилось останавливаться, а в это время Лиза и Миша уходили уже вперед и терялись в кромешной тьме, а сзади на Ярослава натыкался Димочка Кутырин. Приходилось догонять передних, — какие-то ветки хлестали по лицу, и мокрые ноги разъезжались в хлюпающей жиже.

Где-то совсем недалеко залаяла собака, ей отозвалась другая. Вплотную подошли к чему-то глухому, высокому, кажется, изба. Так и есть!

Миша мог ручаться только за своего дядю, а как встретит непрошенных гостей тетя Стеша — он не был уверен. На всякий случай он попросил ребят обождать у ворот, а в избу вошел только с Зоей.

— Что скажешь, барышня? — опросила Зою тетя Стеша.

Выслушав просьбу, тетя Стеша с ног до головы пристально осмотрела Зою недобрыми глазами, подслеповато слезящимися на измученном заботами, исполосованном вдоль и

поперек всякого рода морщинами и морщинками лице, затравила под темный платок неряшливо выбивающиеся из-под него пряди волос и сказала, не пытаясь скрыть свою неприязнь:

— Заблудилась, барышня! Тебе надо в универмаг, в город. А здесь для вас обувку никто не припасал. Мы сами с войны этой распроклятой потеряли голову, а теперь и вы норовите как бы сесть на нашу шею. Мишка, уведи, ради бога, свою барышню, не доводи до греха!

— Не смейте называть меня «барышней»! — Зоя даже топнула ногой. — Ведь я вас ни разу еще барыней не назвала, а вы уже второй раз называете меня барышней.

— Ого-го! — с удивлением и даже с интересом певуче протянула тетя Стеша, еще пристальней всматриваясь в Зою. — Кипяточек у тебя, я вижу, крутой — кого хочешь ошпаришь.

Откуда-то сверху, должно быть с печки, раздался хриплый голос:

— Степанида, замолчи, а не то я тебя сам уйму!

— Господи боже мой, — простонала тетя Стеша, — и в чем только дыхание держится, а тоже грозитя мне.

Зашуршал овчинный кожух по шершавым кирпичам печки, на пол оттуда посыпался мелкий мусор — щепочки для растопки и комочки пересохшей глины, — и свесились худые грязные ноги с желтыми, как кость, мозолями, изуродовавшими пальцы; показалась голова с опухшим от водянки лицом, с отечными наплывами под глазами, со спутанной, давно не мытой и не чесанной рыжей бородой.

— Здорово, Михаил!

— Здорово, дядя Максим!

Старик закашлялся, тяжело зашелся клокочущим в груди хрипом, — от этого с печки посыпалась еще какая-то мусорная мелочь. Прочистив голос, дядя Максим сказал Мише:

— Оботри лавку — посади гостью. Что ты ее на ногах мытаришь? Они к нам помочь приехали, а мы их — как невежды. А вы, девушка, извините наше невежество, не обижайтесь на мою дуру. Тут третёво дня немец пролетал, белые печатные листки видал, — вот она начиталась и потеряла разум. Зачем только таких обучали грамоте!

— Тут не то что разум — голову потеряешь, — оправдывалась тетя Стеша.

— Я ей говорю: разорви, кинь в огонь, что можно ждать от врага, кроме яда, ведь он сахара или маслица тебе с неба не окинёт! Вот она прочла ихнюю фальшь — будто Москва взята ими, мозги у нее и перевернулись, теперь не знает, где зад, а где перед.

— Да разве я одна? — не сдавалась тетя Стеша, но все больше теряла уверенность, и голос ее начал дрожать. — Сам небось видел: вчерась по большаку из Петровского скотину угоняли. Из выселков — тоже! А горбачевские сегодня навязали узлы, сундуки — на телеги; трактор их всех вытянул из болота на шоссе, и тоже подались на

восход солнца. А мы? — Тетя Стеша села на скамейку, нагнула голову до самых колен, обхватила ее руками, завывала, заголосила, запричитала: — Куда я пойду с тобой, с калеккой? А корова? Опять же — куры! Куда мы, старики, с тобою денемся, кому мы теперь нужны?!

— Ну, будя! — строго сказал старик. — Будя! Уймись, глупая! Да разве же народ допустит такое, чтобы враг захватил Москву!

Тетя Стеша сразу же замолчала и принялась утирать лицо обратной стороной синего старенького фартука. Старик, повернувшись к Зое, сказал уже потише:

— Обувки лишней у нас, конечно, не ищите, какая у нас может быть обувка? Однако помочь вам желательно. Руки пока что не отказали, слушаются. — Старик сжал пальцы в кулак, потом распустил их и пошевелил, посучил ими в воздухе. — Жратва имеется, инструмент тоже в полной боевой готовности. Несите мне на починку что у вас там, какие болячки. Подлатаем, подкуем — лишь бы ногам сухо было.

Тетя Стеша пошарила кочергой под печкой, выгребла оттуда опорки — головки от старых сапог и две пары разбитых ботинок.

— Вот с этого и начнем, — оказал старик. — А товар что надо! К утру будут как новые, даже не узнаете. Ночью у меня все равно сна нету — вся спина мозжит, земляную перину уже просит, еловый тулуп.

Немного помолчав, старик добавил:

— А ты, Миша, отведи девушку к Иванковым. Они уже об двух сыновьях похоронную с франта получили, им теперь беречь не для кого. Побывайте с другого конца у Никиты Смирнова — этот человек сознательный. Да и как же не помочь? Вы приехали к нам на помощь, мы тоже к вам с полной нашей душевностью!

10

На такую удачу Зоя никак не рассчитывала: из Люботина и Скворцов бригады принесли шестнадцать пар обуви. Ремонт-починка на будущее тоже была обеспечена. Что же еще надо? Правда, как сказал Димочка Кутырин, «обувь не модельная» — грубая, корявая, но зато ноги будут сухие, и если обмотать какими-нибудь тряпками, как портянками, то каждому можно подогнать по своей ноге.

Виктор Терпачев тоже не терял времени даром: пока бригады собирали обувь, он для остальных ребят организовал джаз-оркестр. Момент он выбрал самый подходящий: Николай Иванович по вечерам уединялся у себя в каморке, что-то там писал и подсчитывал, одним словом, дымил в потолок, и к тому же он никогда не протестовал против музыкальной самодеятельности. Дни стали короткие — рано смеркалось, и свободного времени между часом окончания работы и приготовлением ко сну оставалось очень много. Некоторые ребята играли в шахматы, кое-кто готовил к

отправке письма домой, девочки читали, занимались штопкой и починкой, а Люся Уткина любила вышивать на круглых маленьких пяльцах. Но сегодня это было только до той минуты, пока из спальни мальчиков не появился со своим джаз-оркестром Терпачев.

Оркестр получился настолько выдающийся, что Зоя вместе со своими друзьями услышала его звуки задолго до того, как подошли к колодцу усадьбы: в ход были пущены пустые консервные банки, медный поднос от самовара, кочерга, две пары расчесок и собственные носоглотки участников самодеятельности.

Танцевали все, кто не участвовал в оркестре. Иногда Терпачев передавал медный поднос Шварцу и «стильно» танцевал танго, фокстрот или же румбу с Катей Арефьевой. Люся Уткина зеленела от ревности — второй уже день она замечала, что Виктор отходит от нее. Она делала вид, что танцы сегодня ее совершенно не интересуют, и продолжала вышивать, пристроившись поближе к лампе. Она уже несколько раз нечаянно уколола иглой палец и со злостью высасывала из него кровь. Красные пятна на ее щеках выступали все ярче и ярче. А Катя Арефьева сегодня была удивительно хороша, она ни минуты не сидела на одном месте, танцы расшевелили ее, она похорошела еще больше.

Терпачев готовил Зое встречу, — он договорился с мальчиками 212-й школы, которые Зою знали мало: как только Космодемьянская появится на пороге, устроить ей «воздушную тревогу».

Так и сделали. Едва Зоя открыла дверь, маленький — ростом с Димочку Кутырина — восьмиклассник из 212-й, заикаясь, завопил смешным голосом:

— Гра-ажда-не, во-во-во-здушная тревога, во-во-во-здушная тре-трево-ога!

Дальше уже ничего не было слышно, кроме невообразимого воя «сирен»: выл Шварц, выл Терпачев, все ребята из 212-й школы изображали «воздушную тревогу».

Воспользовавшись маленьким перерывом, когда помощникам Терпачева понадобилось перевести дух, Зоя крикнула:

— Виктор, брось паясничать! Прекратите безобразие! Давайте еще раз поговорим, что нам делать. Если вы не согласны, я выйду из бригады и одна докажу вам, что можно собирать гораздо больше картошки.

Люся Уткина крикнула:

— Единоличница, кустарь-одиночка!

Катя Арефьева тоже оказала:

— Индивидуалистка! Одна против всего коллектива!

Зоя только что была начала говорить о собранной обуви, но Терпачев не дал ей даже начать как следует. Теперь уже сам, подражая заикающемуся восьмикласснику, он завопил:

— Во-во-во-здушная тре-во-га-га-га! — и какофония с воющими «сиренами»

возобновилась с удвоенной силой.

Петя Симонов, завернув край матраца, вскочил на топчан; потрясая руками и что-то выкрикивая, он пытался образумить ребят, но это привело только к тому, что неистовый вой усилился.

Зоя оглянулась. Ярослав стоял бледный, глаза его были широко раскрыты и казались необыкновенно большими.

У него появилось желание подойти к Терпачеву и ударить его по лицу. Но что-то подсказывало Ярославу, что в присутствии Зои делать это недопустимо. Он едва сдерживал себя.

Зоя повернулась к выходу и толкнула перед собою дверь.

Убедившись, что Зоя уходит, Терпачев закричал торжествующе:

— Отбой! Отбой! Отбой! Угроза воздушного нападения миновала!

Зоя ушла из спальни девочек, следом за нею вышла и Лиза Пчельников а Ярослав остался.

На дворе по-прежнему была непроглядная темень, и никто не видел выступивших на глазах у Зои слез обиды. «А все-таки я им докажу, что я права!» — сказала она самой себе и прикусила верхнюю губу, чтобы не разрыдаться.

11

После ухода Зои в спальне стало необыкновенно тихо, словно все вдруг поняли, что хватили через край, перестарались.

И вот в этой тишине раздался спокойный, но властный голос Ярослава:

— Виктор, выйдем на минуту!

Он очень побледнел, и от этого у него появилось такое ощущение, словно кожа на его собственном лице чужая. Терпачев взглянул Ярославу в лицо и, сразу же заметив, что с Ярославом происходит что-то необычное, тоже сильно побледнел.

— Что случилось? — спросила Катя.

— Ничего не случилось, — ответил Ярослав обычным своим голосом. Он уже начал овладевать собой.

Ярослав вышел из спальни девочек, за ним переступил порог Виктор и прикрыл за собой дверь. В сенях в полной темноте Терпачев спросил:

— Что тебе нужно?

— Иди за мной!

И Терпачев пошел следом, как привязанный, хотя ничто не обязывало его это делать. Вероятно, Виктора приковывало к Ярославу сознание своей вины, нечистая совесть. Стало ненамного светлее, когда они вышли под открытое небо. Терпачев едва различал фигуру идущего впереди него Ярослава. Что-то едва уловимое моросило сверху, точно

на лоб садились мельчайшие мошки и шевелили мокрыми лапками.

Терпачев еще раз спросил: «Что тебе надо?» — и, хотя Ярослав ничего не ответил, продолжал идти следом за ним.

Отойдя от избы метров на сто по тропе, ведущей на картофельное поле, Ярослав повернулся лицом к Терпачеву и спросил наконец голосом, показывающим, что он снова перестает собою владеть:

— До каких пор ты будешь издеваться над Зоей? — Слышно было, как, проговорив это, он судорожно сглотнул слюну.

— А, вот оно в чем дело! — сказал Терпачев тоже изменившимся голосом и добавил: — Дуэль?

— Ты подлец! — резко рубанул Ярослав. — Я тебя ненавижу! Зачем ты сюда приехал? Помогать или мешать?

Терпачев молчал. Он изо всех сил напрягал в темноте глаза, чтобы не прозевать какого-нибудь внезапного движения Ярослава. Боясь, что тот его ударит, он шире расставил ноги для обороны. Но по мере того как Ярослав продолжал говорить, у него начало исчезать желание защищать себя.

— Даю тебе сроку только до утра! — сказал Ярослав. — Или ты уйдешь, или ты будешь помогать нам. Выбирай!

Терпачев все еще продолжал молчать.

— Зачем ты все время стремишься унижить нашу Зою? Разве она работает здесь ради собственной выгоды? То, что мы все здесь делаем, — это тоже необходимо для разгрома врага. А ты нам вредишь. Значит, ты тоже враг?! Что же ты молчишь? — спросил Ярослав, немного помолчав. — Имей в виду, я тебя сейчас буду бить. Я тебя ненавижу!

Терпачева потрясло поведение Ярослава. Ничего подобного он не ожидал. В темноте он почти не видел выражения лица Ярослава. Но, если бы даже было светлее, все равно нельзя было бы узнать прежнего Ярослава. Перед ним стоял как бы совершенно новый, неизвестный ему, притом совершенно взрослый человек. Властный тон Ярослава и беспощадная правда его слов пригвоздили Терпачева к месту. Терпачев не испытывал страха, нет, он не боялся Ярослава. Не это приковало его к месту, точно так же, как не страх заставил его оставить избу, перешагнуть порог и, как на цепи, прийти сюда следом за Ярославом. Совесть в нем была жива, да и был-то это всего-навсего лишь мальчишка.

— Ну? — напомнил о себе Ярослав.

— Ярослав, ты очень любишь Зою? — неожиданно спросил Терпачев, сам не отдавая себе отчета, зачем он об этом спрашивает.

Ярослав ничего не ответил.

— Ты хотел меня бить? Ударь!

— Ты думаешь, я побоюсь тебя ударить? — И, прежде чем Терпачев успел заслониться или отступить, Ярослав прямым коротким ударом в скулу правой щеки сбил его с ног. Терпачев неторопливо поднялся, так же неторопливо отряхнулся и, подойдя ближе к Ярославу, сказал:

— Хватит или, может быть, хочешь еще?

Ярослав молчал, и Терпачев заговорил вдруг таким тоном, как будто между ними ничего не произошло.

— Почему-то я никогда не любил Зою. Должно быть, это оттого, что ее не любила Люся. Но даю тебе, Ярослав, слово, честное комсомольское, что никогда больше мешать Зое не буду. Я даже сам не могу понять, почему я все время паясничал.

12

Среди ночи Ярослав внезапно проснулся. Что такое? Он испугался: неужели проспал? Схватился за часы — ведь сегодня наступила его очередь дежурить по спальне и поднимать ребят на работу. Нет, рано: только час ночи. В чем же дело? По его лицу прошла чья-то тень, точно кто-то мазнул мягкой невидимой кистью. Тень переломилась на бревнах стены и косо метнулась на потолок. По профилю, задержавшемуся на потолке, как на экране, Ярослав узнал Терпачева. Он затягивал шнур на своем рюкзаке. Когда Терпачев повернулся боком к свету, падавшему от прикрученного фитиля лампы, даже издали было заметно, как сильно вспухла его щека от удара Ярослава и резко выделялся синяк на скуле.

Терпачев делал вид, будто не замечает, что Ярослав проснулся. Вот он поднял с топчана рюкзак, продел одну руку под лямку, расправил лямку на плече, вот уже обе лямки на своем месте. Терпачев сгорбился, подбросил рюкзак и этим движением поудобнее приладил его на своей спине. Все, кажется...

Почему же Терпачев не двигается с места, в чем дело? Он долго стоит, нее время глядя в пол. Что его мучает? Раздумал? Нет, уходит... Ярославу стало жаль его. Вот он проходит мимо Ярослава и по-прежнему делает вид, будто не замечает, что тот не опит. Когда он проходит уже совсем близко от Ярослава, Ярослав, приподнявшись на локте, вытаскивает из-под подушки два кусочка хлеба, которые он оберек от своего ужина, чтобы плотнее позавтракать перед работой утром.

— Виктор, возьми на дорогу!

Но Терпачев не взял из рук Ярослава хлеб, прошел мимо. Ярослав сел, свесил ноги с топчана и шепотом опросил:

— Неужели ты способен бросить своих товарищей в такое трудное время? Неужели наш класс тебе не дорог?

Терпачев ничего не ответил и на это. Он боялся, как бы не проснулся еще кто-нибудь,

и крадучись медленно открыл дверь и вышел.

Сойдя с трех ступенек крыльца, остановился.

Ночь была холодная, звездная. Куда девалась изморось, ее бисерные капельки, как лапками прикасавшиеся к коже лица? Звезды одолели. Они прожгли туман, он испарился, и наверху, в небе, воцарилась хрустальная, льдистая тишина-от темной сырой земли и до самых дальних звезд. Нигде не было видно ни зарева пожаров, ни ракет, ни полета трассирующих пуль, не слышно гула артиллерии или утробных толчков от дальних бомбежек.

Вдруг под ноги Терпачева черной тенью кинулась собака. Словно сойдя с ума от радости, она тихо повизгивала, вздыбившись на задние лапы, хотела лизнуть лицо; Терпачев отступил на шаг, и она сорвалась, царапая когтями его плащ, и тут же, вертясь вокруг него, принялась притворно покусывать его руку и лизать ее; вновь поднималась и толкала его передними лапами в грудь, словно упрашивала опомниться и не уходить, вернуться назад.

Удивительно! Ведь он за все свое пребывание в совхозе ни разу не дал ей ни единой крошки, какой-нибудь там пригоревшей корочки. «Для нее, — подумал Терпачев, — важно не то, что я — Виктор. Для нее я — прежде всего человек. Она любит человека, она верит человеку».

Терпачев вспомнил, что часто именно с этой собакой возился Дима Кутырин, чуть ли не целовал ее в морду. И вдруг его пронзила острая тоска по товарищам, которых он покидал, нестерпимо заскребло, защемило в душе... Димочка Кутырин, Петя Симонов, Лиза Пчельникова — разве он не любил их?! А Зоя?.. Колючая, неподкупная, правдивая девчонка... «Я и Зою люблю! — думал теперь он. — А все эти мои издевательства и мое хамское отношение к ней — это не что иное, как искаженное, какое-то перевернутое в обратную сторону мое отношение к Люсе Уткиной. Зачем же мне уходить от своих товарищей, когда им так трудно?»

А собака вилась вокруг него, не отставала и, дотягиваясь лапами до его груди, словно хотела втолкнуть его обратно в избу, остановить от рокового, подлого шага.

И вот звезды поплыли в увлажнившихся глазах Терпачева, стронулись со своих мест, начали ломаться и таять, как леденцы, выпуская в разные стороны тонкие колючие лучики. Терпачев не плакал, но глаза его были наполнены слезами.

Ярослав уже успел заснуть. На этот раз дверь закрипела, когда вернулся Терпачев. Из раскрытой двери вместе с клубами холодного пара, метнувшегося по полу под нары, до Ярослава дошла волна чистого, острого, словно настоящего на звездах, свежего воздуха, он потянулся всем телом и с превеликим удовольствием глубоко вздохнул. Утром Терпачев сказал ребятам, что выходил ночью в уборную и в темноте будто бы ударился лицом о косяк двери.

...И вот все это осталось далеко-далеко позади.

Зоя победила в борьбе и доказала ребятам свою правоту, и вот теперь вместе с нею торжествуют все бригады: задание выполнено! Да и как могло быть иначе? Ведь «кто хочет — тот добьется, кто ищет — тот всегда найдет».

Как прекрасно убранное, просторное, отдыхающее поле! Какой удивительный вечер! Зоя потянулась в сладостной истоме всем своим утомленным за долгие недели тяжелого труда телом, при этом она встала на носки, как бы стараясь достать, дотянуться до розовато-пепельных, окрашенных закатом облаков. Как прекрасна жизнь! До чего прозрачен воздух! Зоя вобрала его в себя полной грудью — сколько только хватило у нее дыхания. Как прозрачен он и неподвижен сегодня: на опушке леса можно пересчитать каждый ствол, каждое деревце и каждый нетерпеливо высунувшийся на луговину куст можжевельника. Молча, стая за стаяй, летели грачи. Почему-то все они летели только в сторону заката, как будто перед сном им хотелось немного согреться около его раскаленной жаровни, на которой одно за другим вспыхивали и догорали прозрачные, как кисейные занавесочки, облака.

Какая тишина стоит над полем... Слышно, как в Скворцах и Люботине перекликаются петухи. На усадьбе совхоза слышно, как четко цепь выговаривает, вызванивает каждым своим звеном, ударяясь о железное ведро, — дежурные в последний раз носят воду для поварахи Семеновны. Скоро ужин.

Все! Конец! Можно возвращаться в Москву.

Прощайте, студеные ветры, от которых у ребят потрескалась кожа на руках и у всех обметало губы. Прощайте, ледяные — чтоб вас черт побрал! — затяжные дожди с «чичером» (так здесь называют мокрый снег). Прощай, рабочая обувка, в которой ребята скользили по жидкой грязи, как на лыжах, торопясь к разведенному среди поля костру, чтоб хоть на минутку согреться. На этом же костре сжигали и немецкие листовки: фашисты несколько раз сбрасывали их, кружась над полем на самолете так низко, что видна была рука летчика, выпускавшая на ветер листовки.

Но не все честно трудились в совхозе до самого конца. Однажды во время обеда обнаружилось, что из совхоза удрали домой Люся Уткина, Ната Беликова и Шварц. Как только они добрались до телеграфа, несколько девочек получили из Москвы вызовы одного и того же содержания: «Мама опасно больна немедленно возвращайся домой. Папа».

Про них Николай Иванович сказал:

— Труссы, белоручки! Я таких слизняков не задерживаю — уезжайте! Нам нужны только крепкие духом, преданные друзья — трусов и малодушных нам не надо! Я смотрю на эти телеграммы о заболевших папах и мамах как на способ естественного

отбора слабонервных. Тем лучше для нас — теперь уж никто не подведет.

Но все это уже позади. Николай Иванович направил Зою и Ярослава в совхоз «Заря» № 1, — там телефон. Пускай сообщат в район, что задание выполнено и вся работа закончена.

14

Зоя и Ярослав остались одни на проселке.

Очень хотела пойти с Зоей и Лиза Пчельникова. Но Николай Иванович решил иначе. Может быть, на этом решении сказалось то, что у него поднялась температура и сам он не мог пойти к телефону — у него начинался приступ малярии. Он решил: почему бы Зое и Ярославу хоть один раз, прощаясь с этими лесами и полями, не побыть вместе, только вдвоем?

Что-то подсказывало ему, что этот юноша и эта девушка любят друг друга, в чем ни один из них, должно быть, не признавался еще даже себе самому. Здесь что-то очень глубокое, чистое... О, как бы хотелось Николаю Ивановичу, чтобы все его ребята, которые работали в совхозе, были бы счастливы!

Он не пустил Лизу, — ее помощь будто бы нужна была при сборах в дорогу, а Ярослав ничем больше не может помочь — он распорол о гвоздь свою правую руку, когда перетаскивал картошку на склад в ящике, околоченном Петей; рука нарывала и распухла.

По дороге в «Зарю» № 1 лишь кое-где попадался лес, уже потерявший листву, прозрачный и тихий, почти на всем пути расстилались открытые, давно уже убранные, просторные поля, с большими клиньями озимой ржи, уже обожженной заморозками, но еще ярко-зеленой.

Как только усадьба «Заря» № 2 осталась у них за спиной, Ярослава и Зою охватило чувство глубокого удовлетворения, покоя после завершения всех работ. Они шли на восток, лазали клонило к закату солнце.

Зоя вспомнила Ирину. Сколько раз они, бывало, провожали это же солнышко во время своих долгих-предолгих прогулок. «Ирина! — позвала про себя Зоя. — Где ты теперь? Отзовись!» Зое стало грустно.

На перекрестке дорог стоял молодой клен. Ни одного листика! Но какое могущество в развороте ветвей и в то же время какое изящество в рисунке всей кроны. Она подумала о Шуре: рисует ли он когда-нибудь теперь, пишет ли красками? Глухо прошуршала под ногами Ярослава и Зои опавшая с клена листва. Ярослав загребал ее носками поглубже.

— Ярослав, о чем ты думаешь? — спросила Зоя.

— Я думаю, почему лист клена красный. То есть, какие химические процессы

происходят в клетчатке листа, делающие его для нашего глаза красным?

— На это тебе ответил бы Димочка Кутырия.

— Еще я думаю о том, — продолжал Ярослав, — как много в науке неизвестного. Например, из всего состава растений, какие только существуют на земном шаре, человек изучил химические свойства только у пяти процентов всего этого богатства. А ведь, может быть, из комбинации некоторых растений можно составить эликсир, который в два, в три раза удлинит человеческую жизнь! Какие-нибудь три капли на кусочке сахара делают дряхлого старика жизнерадостным юношей, одна капля излечивает от рака!.. А ты, Зоя, о чем думаешь ты?

— О том, что я очень мало тебя знаю. Ты какой-то неясный... Ты много молчишь. Замолчала и она. Их дорогу затопила широко разлившаяся лужа — приходилось ее обходить по топкой пашне. Зоя стала обходить справа, а Ярослав — слева. Ярослав проделал это без труда в своих высоких сапогах, а Зоя два раза наклонялась, чтобы поправить на калошах веревочки, переплетенные на заднике по способу Миши-бригадира. Когда они снова сошлись на дороге и пошли дальше, Ярослав попросил: — Продолжай!

— Ты больше всего любишь музыку, а мечтаешь изучать геологию и говоришь сейчас о химии, ботанике и медицине...

— Может быть, хорошо, что ты мало меня знаешь. Если бы ты знала все мои мысли, если бы ты знала, что происходит у меня в душе, может быть, ты испугалась бы...

— Не пугай меня — я ничего не боюсь!

Они долго шли молча. Грязь чавкала под ногами. Зоя поскользнулась и упала бы, если бы не успела схватиться за Ярослава, за его руку выше локтя. Она смущенно засмеялась.

— Чего бы тебе хотелось больше всего на свете? — спросил Ярослав.

Зоя ненадолго задумалась, потом ответила:

— Чтобы как можно скорее кончилась война, чтобы завтра увидеть маму и Шуру.

— Все правильно, Зоя! Ты удивительно правильный человек, я тебе завидую.

— Ты смеешься надо мной? Ты считаешь меня слишком примитивной, простецкой. А чего бы ты сам хотел больше всего на свете?

— Я тоже хотел бы, чтобы мы как можно скорее победили фашистов, чтобы завтра увидеть маму, отца и всех братьев. А еще я хотел бы, чтобы дорога до «Зари» № 1 длилась бесконечно долго...

Ярослав взял Зою за руку, и они прошли так метров сто. Ярослав разжал пальцы, но теперь уже Зоя не отпускала его руку, и они еще прошли немного; Зои выпустила было его руку, но Ярослав придержал ее. Тогда Зоя остановилась, положила обе ладони на плечи Ярослава и пристально посмотрела ему в глаза. Ярослав выдержал ее взгляд. Зоя опустила руки, повернулась и быстро пошла вперед, проговорив:

— Пойдем скорее, еще надо успеть обратно, ведь темнеет совсем рано.

Подходя к совхозу, еще издали увидели, как из распахнутых ворот усадьбы выехала груженная мешками полуторка, потом — вторая с каким-то грузом, прикрытым новым брезентом, за нею — третья, опять с мешками, огромными узлами и заколоченными ящиками. Когда Ярослав и Зоя подошли ближе, им пришлось посторониться и уступить дорогу еще нескольким нагруженным доверху машинам.

У ворот усадьбы на низенькой, но широкой скамейке сидел старик, видимо сторож. Похоже было на то, что он собрался дежурить всю ночь — оделся по-зимнему: черный новый полушубок с огромным — шалью — воротником из рыжеватой овчины, шапка-ушанка да валенки с поблескивающими новой резиной калошами. На груди, распахнув полушубок, старик грел щенка-дворняжечку, слегка повизгивавшего и скулившего то ли от избытка удовольствия, то ли от досады на то, что зеленовато-серая борода старика назойливо лезла ему в глаза.

Старик читал какую-то тоненькую брошюрку, то и дело поправляя сползавшие с переносицы очки с большущими стеклами в светлой оправе из пластмассы.

Увлеченный чтением, казалось, он ничего не способен замечать. Однако, когда Зоя и Ярослав прошли было мимо него уже в самые ворота, старик сказал, не отрываясь от странички, не подняв даже на них глаз и, может быть, заметив лишь промелькнувшие перед ним чьи-то ноги:

— Напрасно идете — никого нет!

— Нам, дедушка, только по телефону позвонить в райком, — сказала Зоя.

— Погодите! — остановил их старик. Он не торопясь дочитывал страницу.

Ярослав и Зоя переглянулись, чуть улыбнувшись.

Наконец он отложил брошюрку на скамейку печатным разворотом вниз, так что Зоя смогла разобрать крупный шрифт обложки: «О продлении человеческой жизни», — и встал.

— Вот глядите! — сказал старик, придерживая у себя на груди одною рукою щенка. Другою рукой, желтым, согнутым, как стручок, и несгибающимся пальцем он стал показывать через раскрытые ворота, одновременно тыча в ту же сторону, помогая себе и бородой: — Глядите, как раз насупротив телеграфного столба это и будет наша контора!

Тотчас же он опять сел и продолжал читать свою брошюрку, не мог с ней расстаться.

— Дедушка, — спросила Зоя, — неужели вы остаетесь здесь один? Все уезжают, эвакуируются...

— Ну и пускай себе едут! Мое дело маленькое: увижу, в случае чего, немцы идут, в момент все оболью керосином и подожгу, а сам с кобельком подамся в партизаны. У меня уже все готово: момент и вззз-жи-ик — все предам огню!

От этого пронзительного, внезапного «вззз-жи-ик» перепуганный щенок вырвался у

него из-за пазухи и, смешно подпрыгивая сразу на четырех лапах, затыкал на своего старика, будто увидел его первый раз в жизни.

Зоя и Ярослав, взявшись за руки, рассмеялись. А старик, ухватив щенка за шиворот, сунул его обратно в распахнутый полушубок к себе на грудь и погрозил:

— Сиди, а то отдам Гитлеру!

Когда Зоя и Ярослав прошли уже метров пятьдесят, за их спиной раздался крик старика:

— Не смотрите, что там замок, валяйте через окно! Только обратно прикройте. В случае ветром стекло побьет, отвечать будете! Другой раз не пущу!

В комнатах конторы было чисто, как в какой-нибудь амбулатории, стены и полы выкрашены точно вчера, но совершенно пусто — один только телефон в простенке между окном и — ни стула, ни стола — пусто! А запах почему-то такой, словно здесь весь день варили варенье

Зоя сняла трубку телефона. Соединили быстро. Низкий, хрипловатый бас неторопливо, безлико объяснил, что тот самый товарищ из райкома, с которым хочет говорить Зоя, сам недавно отправился в «Зарю» № 2. Должно быть, разминулись с ним или же, поскольку этот товарищ верхом, он мог поехать другою дорогой — напрямик.

Какая досада! Зоя хотела было чем-то возмутиться, не кладя трубки. Но тут же пристыдила сама себя: «Не лицемерь, Зоя, ведь ты же рада, что могла идти так долго вдвоем с Ярославом».

Пока Зоя, положив уже трубку, стояла в раздумье у аппарата, где-то в глубине здания раздался звук, похожий на то, как будто упала большая стеклянная капля — Ярослав разыскал рояль!

В мирное время здесь, должно быть, проходили шумные вечера самодеятельности, но сейчас, кроме ситцевого занавеса, перегораживавшего большую комнату пополам, и рояля за ним, ничего не осталось. Ярослав пробовал клавиатуру стоя.

Зоя обрадовалась и попросила:

— Пожалуйста, сыграй то, что ты играл в школе вечером, после диктанта. Помнишь? Вместо ответа Ярослав поднял вверх забинтованную правую руку, словно белый флаг, который вывешивали при сдаче крепости врагу. Должно быть, солнце зашло: в крышке рояля, как в черной воде, отражалось розовое окно, в комнате стало темнее, но Зоя отчетливо видела, как загубела от копки картошки левая, незабинтованная рука Ярослава, как глубоко въелась грязь вокруг ногтей, — казалось, что такие пальцы не могут не оставлять следов на белых клавишах. И все-таки эта рука жадно тянулась к ним после долгой разлуки... Зое стало жаль Ярослава.

— Скажи, Ярослав, — я так до сих пор и не знаю, — что ты тогда играл мне? До сих пор слышу каждый звук и ту мучительную фразу, которая все время о чем-то настойчиво спрашивает, все время чего-то мучительно добивается и не получает ответа.

— Не помню! — ответил Ярослав.

Зое стало больно. Она никогда не сможет забыть тот вечер, никогда! А он — не помнит!.. Удивительно! А он — не помнит... Или не хочет сказать, хранит это для какого-то другого случая?

— У Скрябина есть ноктюрн для одной левой руки. Жаль, здесь нет стула или какого-нибудь ящика, — я бы попробовал вспомнить.

Ярослав тщетно огляделся вокруг — нет, сесть не на что.

— Нравится тебе?

Он как бы разложил левой рукой на гладкой стеклянной поверхности, освещенной лунным светом, несколько льдистых кристалликов, и они начали тут же таять, испуская при этом необыкновенно чистые, ясные звуки, и, слившись в ручеек, принялись о чем-то упрашивать, уговаривать, ласкать и убаюкивать...

— Нравится тебе? — повторил Ярослав свой вопрос.

Зоя ответила с грустной и немного насмешливой улыбкой:

— Бетховен сказал: «Лучший способ говорить о музыке — это молчать о ней!»

Ярослав поправил ее:

— Это слова Шумана. А Бетховен сказал: «Музыка должна высекать огонь из человеческих душ».

Какие поразительные слова! У Зои пошли по спине морозные мурашки от этих слов: «Музыка должна высекать огонь из человеческих душ». До чего же хорошо! Какая сила в этих словах!

Зоя подумала: «Какая же непреодолимая сила в музыке, если тот огонь, который Ярослав зажег в тот памятный вечер, не угас до сих пор в ее душе и разгорается все сильнее!»

Зое вдруг захотелось спросить Ярослава: что он хотел сказать ей тогда в Москве, в последний мирный вечер, после школьного бала, когда он попросил позволить ему проводить ее? Что он тогда хотел сказать, но так и не решился? Зоя хотела спросить сейчас, но тоже побоялась, а вдруг он ответит: «Не помню», или: «Я скажу тебе об этом, когда мы вернемся в Москву», или еще так: «Когда окончится война...»

И все-таки Зоя спросила:

— Ярослав, помнишь, ты ждал меня после прощального вечера десятиклассников, ждал, чтобы проводить и что-то сказать мне? Потом раздумал и обещал, что скажешь когда-нибудь после. Помнишь? Что ты хотел тогда мне сказать?

Опустив крышку на клавиатуру рояля, Ярослав проговорил:

— Зоя, зачем ты спрашиваешь? — И, взяв ее руку, он пристально посмотрел Зое в глаза и добавил, смущенно улыбаясь, словно в чем-то считал себя виноватым: — «Лучший способ говорить о музыке — это молчать о «ей». — При этом он мучительно покраснел. Выбраться из конторы пришлось тоже через окно.

Старик-«поджигатель» уже успел заснуть на своей скамейке, прислонившись к планкам штакетника. Его очки сиротливо лежали на широкой доске скамейки поверх брошюрки о продлении жизни. Щенок по-прежнему грелся у него на груди; раздвинув мордой пошире ворот полушубка, он лизал усы старика, и старик во сне улыбался.

15

Всем, кто теперь возвращался в Москву, Николай Иванович разрешил запастись картошкой, однако лишь с таким условием: бери сколько хочешь, но тащить ее будешь на себе — на лошадь не рассчитывай. Дорога была слишком тяжела для колес, на телегу погрузили только личные вещи: узелочки и рюкзаки, да еще туда же, на грядку, уговорили сесть и самого Николая Ивановича. Вскоре он вынужден был и вовсе лечь — у него опять начинался вечерний приступ малярии. Болезнь эта имела многолетнюю давность, и Николай Иванович давно уже позабыл о ней, но вдруг, за неделю до окончания работ в совхозе, малярия пожелала напомнить о себе.

Зоя все свои вещи увязала в косынку, а рюкзак до самой горловины плотно набила картошкой: пускай мама и Шура порадуются!

Двинулись в путь из совхоза, когда начало уже вечереть. Теперь поезда ходили только по ночам, остерегаясь бомбежек. Совсем некстати заметно потеплело, и опять пошел всем осточертевший, злой, мелкий дождик. Ребята, хорошо просушившие перед походом у Семеновны на печке одежду и обувь, под дождем быстро приняли обычный свой вид во время работы в поле: все на них взмокло опять. Светло-зеленый шарфик Зои, с черной ниткой в тканье, которым она повязала голову в дорогу поверх берета, потемнел от влаги на первом же километре, и обычно пружинистые прядки волос надо лбом вяло обвисли, а потом и вовсе прилипли к нему. В лесу дорога была еще хуже, чем в поле, — здесь ее не продувало ветром. Ребята растянулись по обе ее стороны длинной цепочкой и, хватаясь за голые мокрые ветки орешника, прыгали от корня к корню, стараясь поставить ногу поближе к стволу дерева или пня, там, где посуше. Телегу мотало из стороны в сторону, колеса бились о корни и проваливались в рытвины, залитые водой. Тогда белая кобылка останавливалась, от нее валил пар, видимый даже в сумерках. Миша-бригадир, провожавший москвичей, упирался плечом в грядку телеги, а Петя Симонов, не жалея рук, хватался за грязные спицы колеса — помогали вытягивать воз из грязи. Николай Иванович приподнимался в телеге на локоть и заглядывал под колесо с каким-то злоецим, мстительным выражением лица. Можно сказать, что ребятам еще повезло: выйди они немного пораньше из совхоза или будь лесная дорога посуше — они попали бы под бомбежку. Еще не совсем стемнело, когда два фашистских бомбардировщика, несмотря на дождь, а может быть именно дождем и прикрываясь, низко спустились над железнодорожной станцией и

разворотили здесь склады, снесли половину вокзального здания и подожгли ими же нагроможденные развалины.

Мелкий дождик успел с головы до ног вымочить всех ребят, пока они шли лесом, но силы его оказалось совершенно недостаточно, чтобы остановить, залить начавшийся пожар: только дым, жирный и черный, как от погребального факела, слегка прибывало дождем к земле и волочило ветром по запасным путям, огонь же без всяких помех пожирал бочки с битумом и мазутом, развороченный взрывом склад лесоматериалов; изуродованный вокзал тоже горел.

Увидев необузданные, жадные языки пламени, многие из ребят подумали: «А что же делается в Москве? Цел ли наш дом, живы ли родные?»

Ах, какое это ужасное чувство бессилия, когда нет возможности поднять руки кверху, вытянуть их до самых облаков и, схватив фашистских стервятников, навсегда отбить у них охоту мучить и терзать ни в чем не повинных, мирных людей.

Петя, Димочка и Зоя разыскали коменданта станции.

— Некуда мне вас сажать, — сказал он. — Вон, видите, на запасных путях теплушки. Если успеете хоть одну разгрузить, прицеплю к московскому составу, не успеете — ждите до завтрашней ночи, если только живы будем. — Комендант показал рукой на горевший вокзал.

Миша-бригадир мог бы уже ехать обратно в совхоз, но он остался помогать ребятам вытаскивать из теплушки и откатывать в сторону березовый кругляк. Когда в теплушке освободился один угол, хотели перенести туда с телеги, из-под дождя, Николая Ивановича. Петя и Димочка сцепили свои руки, чтобы посадить на них, как в кресло, Николая Ивановича, но он закричал на них:

— Вы что, спятили? Я пока что еще живой, а не мертвый!

И он пошел без посторонней помощи, волоча свою ногу по шпалам и перекидывая ее через рельсы, то и дело останавливаясь, чтобы унять кашель. Ребята тоже раскашлялись от удушливого дыма.

Ярослав чувствовал себя лишним, ведь он никому не мог помочь — болела рука.

Ярослав пошел в сторону вокзала — поискать воду. Ему не столько хотелось пить, а лишь бы не маячить перед глазами товарищей, продолжавших выносить кругляки из теплушки.

Здесь Зоя и нашла его, когда пора было уже всем садиться в вагон. Зоя даже не сразу узнала его. Он стоял под дождем в группе людей, столпившихся возле распластанной на земле, убитой при бомбежке женщины. Тело женщины было изуродовано, изорванная одежда густо пропитана кровью, смешанной с грязью.

Смотрели, собственно, не на женщину — рядом с нею лежал ее ребенок. Он лежал на земле с виду как будто совершенно невредимый, но уже мертвый. Дождь заливал его розовое от отблесков пожара личико, глаза его были полуоткрыты, но он не моргал,

дождь уже ему не мешал.

Недалеко от этого места, под навесом, сбились в кучу, как цыплята, около своей воспитательницы ребята из детского сада. Эвакуировались на восток, ждали посадки.

Воспитательница то и дело уговаривала уже безразличным от усталости голосом: — Сережа, Катя, кому я говорю? Не сидите на сырой земле, простудитесь.

А эти двое — мать и ребенок — они уже не могли простудиться!

Ярослав, глядя на убитого ребенка, кусал губы, щурил глаза, силился превозмочь внутреннюю боль, хотел отойти, но не мог оторваться. Ветер трепал пламя пожара, огненные блики и тени шевелились на лице Ярослава, и казалось, что он гримасничает, стараясь во что бы то ни стало удержаться от слез. Зоя взяла его за рукав, заставила отойти в сторону.

Ехали долго, часто останавливались и непонятно что пережидали. Сидеть всем пришлось прямо на занозистом, замусоренном полу теплушки. Сильно мотало из стороны в сторону, и вся деревянная коробка вагона гулко гремела. Покачиваясь в полной темноте, Зоя и Ярослав — они сидели рядом — порой невольно прикасались друг к другу плечами, локтями, сталкивались, а когда им хотелось что-нибудь сказать друг другу, приходилось из-за грохота поневоле так приближать рот к уху, что ощущалась даже теплота дыхания и волосы одного прикасались ко лбу другого. Но они стеснялись этих прикосновений, каждый боялся быть навязчивым, и они то и дело немного отодвигались, но тряска и покачивания снова подталкивали их друг к другу, сближали.

— Что ты будешь делать в Москве? — спросила Зоя, когда один из толчков слишком уж близко качнул ее к Ярославу.

— Не знаю, — ответил Ярослав. — Для меня одно только ясно: за парту больше никогда в жизни я уже не сяду.

Зоя подумала, что это уж безусловно так. Разве можно после всего, что пережито, представить себе, что ты стоишь у доски в классе, держишь в руке мел и отвечаешь урок?

Ярослав ощупью отыскал в темноте ее руку и сказал:

— Зоя, уйдем вместе на фронт!

Зоя ответила, но сначала высвободила руку:

— Вместе? Разве это возможно? Ведь я же девочка, я боюсь оставить маму одну.

Неожиданно откуда-то сверху раздался крик Пети, примостившегося там возле щели захлопнутого железной створкой окошечка:

— Товарищи! Уже Расторгуево, до Москвы двадцать восемь километров! — И он запел, а друзья подхватили:

Наш паровоз, вперед лети,

В коммуне остановка.
Иного нет у нас пути,
В руках у нас винтовка.

В Москве, на вокзале, каждого начала мучить одна и та же тревога: живы ли родные и уцелел ли при бомбежках дом? Все быстро разошлись в разные стороны.

Выйдя из метро на станции «Сокол», Зоя и Ярослав попрощались и пошли было каждый к своему дому. Но Зоя неожиданно обернулась, когда Ярослав отошел уже шагов на десять, и окликнула его необычным, даже каким-то неузнаваемым для него голосом:

— Ярослав!

Потом она быстро подошла к нему, порывисто обняла и крепко поцеловала его прямо в губы и тотчас же так же стремительно оторвалась от него и пошла своей дорогой.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

В Старопетровском проезде все стояло на своем прежнем месте, не было никаких разрушений. Но у себя дома Зоя не застала в этот поздний час никого: на дверях комнаты висел замок.

Соседка Лина буквально всплеснула руками, ударила ладонь о ладонь, увидев Зою.

— Зачем ты вернулась?

За спиной Лины, на полу в ее комнате, Зоя увидела большую корзину, перевязанную веревкой крест-накрест, а на обнажившихся досках кровати (матрац уже был снят) - несколько узлов с мягкими вещами.

— Оставалась бы в деревне, — сказала Лина.- Разве ты не знаешь, что немцы подходят уже к Химкам?

— А где мама, где Шура?

— Работают! Где ж им быть? Любовь Тимофеевна поступила машинистом на компрессорный — иначе пропадешь без продовольственных карточек. У нас на заводе два цеха разбомбило, — спасибо не в мою смену! Руки теперь у меня развязаны — вот сижу, поджидаю машину: у меня двоюродный брат шофер.

Зоя вспомнила ребеночка, лежавшего на земле рядом с убитой матерью: глаза не закрыты, дождь льет на него, а он лежит и не моргает, будто глаза у него из стекла.

— А где твой Васятка? — опросила она Лину.

— У матери, под Каширой. Вот и я туда собралась. Зоя, голубка моя, едем со мной! Ну, прошу тебя по-хорошему: едем. Ведь ты же девушка... Ты должна понимать, что могут над тобой сделать фашисты проклятые. Поедем со мной! У матери корова, курочки, заколем поросеночка, картошка своя. Мужиков побрали всех в армию. Найдем тебе работу по вкусу. Едем!

Зоя сказала:

— Москву фашистам не отдадут! Народ, партия этого не допустят!

— Фюйить! — Лина свистнула по-мужски, махнула на Зою рукой и пошла вниз — к крыльцу поджидать машину.

Ключ Зоя нашла на обычном месте: в поддувале печки-голландки, топка которой выходила в коридор.

Первое, что она увидела над постелью матери, на стене, свой портрет, карандашный рисунок Шуры. «Значит, не забыл сестру?» — подумала Зоя, улыбнувшись, и у нее тут же возникло привычное желание поспорить с братом. Она сняла свой портрет и засунула его в папку с рисунками Шуры.

— Раз вернулся сам оригинал, — сказала она вслух, — портрет — излишняя роскошь!

Зоя очень проголодалась, но ничего съестного в комнате найти не смогла, приготовить же что-нибудь для самой себя не было сил, слипались глаза. Она с трудом стащила с себя одежду, все еще сыроватую от дождя, провожавшего их по лесной дороге.

Разыскала в комоде сухую рубашку — и скорее под одеяло.

Зоя не слыхала, как рычал мотор под окном и как пыталась достучаться к ней Лина, чтобы проститься, и осталась совершенно равнодушной к сигналам воздушной тревоги.

Зое казалось, что все это снится ей. Проспала она все утро и первую половину дня.

Раза два она вскакивала, чем-то испуганная, и, стоя босыми ногами на полу, начинала прислушиваться, не понимая, где она находится, но, увидев луч солнца на подоконнике, вспоминала слова Лины: «Немцы подходят к Химкам» — и тогда узнавала постель матери, ветки сосен, заглядывающие в комнату, укладывалась снова в постель и мгновенно засыпала опять.

Поднялась она только перед самым приходом Любви Тимофеевны, — едва успела умыться. Первые слова Любви Тимофеевны были:

— Если бы ты знала, как мы с Шурой тебя ждали! Шура уже решил ехать за тобой в субботу. Зоя, девочка моя, тебе надо уезжать из Москвы. Школа не работает.

Зоя спросила:

— А правда, что фашисты уже около Химок?

— Ну, может быть, не около Химок, но, во всяком случае, где-то близко. Если ночью прислушаешься, то уже слышна наша артиллерия с переднего края. Зоя, пойми: если случится что-нибудь внезапное, нас с Шурой эвакуируют в два счета вместе с заводом,

а ты?..

Зоя поднялась со стула и стала в обычную свою позу, когда она ни за что не хотела с чем-нибудь согласиться: брови хмуро сведены, руки заложены назад, за спину, и там крепко переплетены пальцы с пальцами. Она сказала, глядя на Любовь Тимофеевну в упор, как будто все зависело только от матери:

— Что же, неужели мы так и отдадим Москву прямо в руки врагу?

Но мать, словно не слыша этих слов, просила еще с большей настойчивостью:

— Зоя, обещай мне, что ты завтра же или послезавтра уедешь в Сибирь к бабушке! Обещай!

То же сказал и Шура, еще в коридоре услышавший, о чем идет разговор. Даже не поздоровавшись, он сказал Зое:

— Да, сестра, дело серьезное! Ты не должна оставаться одна в квартире. Наш Тимирязевский район сейчас ближе всего к фронту. Здесь немцы подошли к Москве ближе всего. Если ты завтра не сможешь сесть на поезд, тебе лучше всего тогда переехать на Якиманку к дяде Сереже.

Слово «сестра» удивило Зою: оно говорило о том, что проведен какой-то рубеж между нею и Шурой. Шура сказал ей «сестра», а не привычное «Зоя», как будто говорил о ней со стороны. Шура исхудал и от этого стал казаться еще выше, погрубел и заметно возмужал.

— Утро вечера мудренее! — сказала Зоя, как бы встрепенувшись. — А сейчас, — хотите вы этого или нет, — я буду рассказывать вам про наш трудовой фронт — мы тоже ведь воевали!

Вот уж когда Зоя наговорила, отвела душу...

Шура принес из сарая дрова и затопил печку; Зоя расстелила против топки, прямо на полу, одеяло, — здесь все и уселись, как на поляне возле костра. Тепло, сухо... Испекли «в мундире» привезенную Зоей картошку и тут же, сидя, ели ее, макая в блюдечко с подсолнечным маслом.

Никогда Зоя не была так разговорчива дома, как в этот вечер, возле мамы и Шуры, только, может быть, когда-то давно-давно, в Сибири, она рассказывала так много своей бабушке о Москве, как теперь матери и брату о совхозе «Заря» № 2. Ничего не забыла: какие чудесные голоса и песни у сестер Агейкиных, как научил ее правильно обуваться бригадир Миша, у которого на левом глазу бельмо величиной «с маковую росинку». Говорила она о потрескавшейся на руках у девочек и мальчиков коже, о кровавых мозолях на ногах, о дождях, о снеге и ветре, о заморозках, о сборе обуви по деревням, о том, как мучила малярия Николая Ивановича.

Любовь Тимофеевна и Шура жадно слушали Зою, и Шура перебил ее и начал спорить только тогда, когда она, заговорив о Терпачеве и Люсе Уткиной, сказала, что теперь Терпачев очень изменился: стал хорошим товарищем и порвал с Уткиной.

Шура сказал о Терпачеве:

— Репетирует новую роль — только и всего!

Зоя попробовала было возражать, потом это ей надоело. Она зевнула один раз, другой, положила голову на колени Любви Тимофеевне, мать ласково, как гребенку, запустила ей в волосы свои исхудавшие, сухие пальцы, и Зоя заснула...

Спи, девочка! Когда-то еще доведется тебе так мирно спать в тепле возле мамы и Шуры!

Когда завывли сирены и объявили воздушную тревогу, был уже первый час ночи. Шура даже не пошевелился на своем тюфячке, на полу посреди комнаты. Зоя тоже не проснулась бы, если бы Любозь Тимофеевна, заснувшая вместе с ней в коридоре, не приподняла колени и не сказала:

— Зоя, иди на свою кровать!

Раздеваясь в темноте, Зоя тихо сказала:

— Он теперь стал совсем большой, мне не страшно будет теперь оставлять тебя с ним одну.

Любовь Тимофеевна спросила, хотя сразу наняла, о ком идет речь:

— Кто «он»?

— Шура!

— Да! — сказала Любовь Тимофеевна. — Теперь ты можешь совершенно спокойно уехать в Гаи к бабушке.

— Об этом поговорим за-завтра! — ответила Зоя, не в силах удержать зевоту.

— Да-да! Нам надо еще выспаться, мы с Шурой работаем в первую смену, — сказала Любовь Тимофеевна и, уже почти совсем засыпая, подумала о Зое: «Она стала как-то мягче и ни разу за весь вечер не сказала своего упрямого: «Само собой разумеется!»»

2

Любовь Тимофеевна и Шура пожалели будить Зою, — вчера в коридоре «у костра» они поняли, что стоила Зое уборка картошки в совхозе. А сама Зоя никак не могла заставить себя проснуться.

Внезапно она вскочила с кровати и сбросила одеяло на пол. Что такое? Она опоздала в школу? Ах, нет! Если бы только это...

Немцы подходят к Москве! Как же можно спать так долго?! Несмотря на то что стояла холодная погода, Зоя настежь распахнула окно. Раньше она это сделала бы для того, чтобы начать зарядку. Но сегодня Зоя, в первый раз за несколько лет, даже не вспомнила о зарядке. Высунувшись из окна, она напряженно вслушивалась в обычные звуки города, стараясь угадать по поведению одиночных прохожих, по их походке, не случилось ли чего-нибудь из ряда вон выходящего?

Нет, все тот же отдаленный гул огромного города, и неторопливо идущие москвичи, тем шагом, по которому можно догадаться, что сейчас не семь и не восемь часов и даже не девять. Зоя посмотрела на часы — так и есть: без восьми минут одиннадцать! — Я должна идти в Московский городской комитет комсомола! Должна! -сказала Зоя вслух, не опасаясь, что ее может кто-нибудь услышать, и, захлопнув окно, принялась торопливо одеваться. «Если в первые дни войны меня не пускали на фронт, то в этом, может быть, и была какая-то логика, но теперь, когда немцы подходят к Москве, меня не могут лишить права защищать Москву, ведь я московская комсомолка! Я москвичка!»

Зое вспомнились слова Ярослава: «Пойдем вместе на фронт!» Но что значит «вместе», как это сделать? Вот сейчас она пойдет в Колпачный переулок, в свой комсомол, а ведь Ярослав даже еще не комсомолец... И потом, что значит «вместе»? Его, допустим, направили бы рядовым красноармейцем, бойцом в какую-нибудь воинскую часть, а ее куда и в качестве кого?..

В Колпачном переулке, у подъезда и у ворот здания МК комсомола, толпилась молодежь, так же как тогда, в первые дни войны возле райкома. В коридорах — тоже полным-полно. Но лица теперь уже совершенно другие: нет того беспокойного, возбужденного ожидания и отчаяния от внезапных отказов. Сейчас большинство уже знало, что молодежь нужна и что чаще всего просьбы удовлетворяют. Были здесь и такие группы комсомольцев, которые явились просто по вызову.

У каждой двери — очередь, но так как прием вели и беседовали с молодежью сразу несколько секретарей, то очередь двигалась быстро. Зоя присматривалась: есть ли кто-нибудь старше ее? Да, подавляющее большинство более взрослые, чем она.

Когда Зоя наконец попала в комнату к секретарю, ей указал на стул человек лет двадцати семи — тридцати, в военной гимнастерке и сапогах, но без знаков различия и с черными гражданскими пуговицами на вороте гимнастерки. Он сидел у стола спиной к свету, и Зое сразу стало досадно, что его лицо сильно затенено: трудно убеждать человека, воздействовать на него, применить свою силу воли и заразить его своей убежденностью, если не видишь как следует его глаз, — получается что-то вроде слепого разговора по телефону.

Перед секретарем лежал на столе длинный список с фамилиями, с именем-отчеством и адресами. Однако он не опросил у Зои ни фамилии, ни ее имени, а сразу задал вопросы, оставляющие у нее мало надежды. Уж очень эта комсомолка юно выглядела.

— Какой класс, сколько лет?

— Восемнадцать, перешла в десятый.

— Двойки есть?

— С какой стати!

Секретарь чуть улыбнулся. Зоя присмотрелась и стала лучше видеть его лицо.

— Тройки есть?

— Нет.

— Четверки?

— Одна.

— Очень хорошо! Возвращайся в школу и желаю тебе успешно закончить десятый класс. Позови, пожалуйста, следующего.

Зоя сказала:

— Я — это и есть «следующий»! И никуда отсюда я не уйду. Отправьте меня на фронт! Я — москвичка, я — комсомолка! Почему я не имею права защищать свою Москву, когда к ней подходит враг? Почему?!

От возбуждения, от большого душевного подъема Зоя словно бы стала лучше видеть, сделалась более зрячая, — теперь она бы даже могла назвать цвет глаз у секретаря, который пристально в нее всматривался, но не выдержал ее взгляда и, сделав вид, что ищет ручку, которая лежала возле его локтя, опустил глаза. Он опять начал серию вопросов:

— Какой иностранный язык преподают в твоём классе?

— Немецкий.

— Знаешь язык?

Зоя замаялась, медлила с ответом.

— Знаешь? Что же ты молчишь? Не знаешь?

— Просто не хочу хвалиться!

— А плавать умеешь?

— Да!

— С парашютом когда-нибудь прыгала?

— Никогда!

— А в парке культуры, с вышки, — может быть, забыла?

— У меня хорошая память, если я говорю «никогда», значит, никогда.

— Плохо! Хвалиться здесь нечем, — сказал секретарь, но по его слабой улыбке и по тому, как он притворно нахмурился, Зоя почувствовала, что ее дело, может быть, и не так уж плохо.

— Стрелять умеешь?

— В тире стреляла.

— Как твоя фамилия?

— Космодемьянская!

— Значит, ты никогда не прыгала с крыла самолета?

Зоя начала раздражаться.

— Я вам уже сказала, что нет!

— Ну, вот что, Космодемьянская, завтра приходи ко мне в это же самое время. Я поеду

с тобой на аэродром, в Тушино. Мы поднимемся с тобой на высоту трех тысяч метров, и ты на моих глазах спрыгнешь. Согласна?

Поднявшись со стула, секретарь уперся обоими кулаками в сукно стола и пристально смотрел на Зою, приблизив к ней свое лицо.

— Да! — сказала Зоя тихо и спокойно, но в то же время ей показалось, что у нее уже затуманилось что-то перед глазами; испугавшись, что сейчас пошатнется и может упасть, она прислонилась к ребру стола.

— А теперь все! — произнес секретарь властно и категорически, громко хлопнув ладонями по крышке стола. — Пускай войдет следующий!

Зоя вышла.

На улице на Зою нашли сомнения: конечно, она может научиться прыгать с парашютом, что за вопрос! Это само собой разумеется! Но с первого же раза и три тысячи метров! Потом она вспомнила, что до испытания остается двадцать четыре часа — есть еще время подумать.

Зоя пошла пешком. Спешить некуда — дома все равно нет ни души и нигде никто ее не ждет. Москву она увидела такой же невредимой, какой оставила ее три недели назад. На всем пути — от Ильинских ворот до площади Маяковского — она заметила четыре или пять разрушений, только на улицах стало грязнее: летом их не поливали и реже мели; когда засыпали песком витрины магазинов и окна подвалов, он был еще сырой и хорошо держался, а теперь он уже давно высох и выползал, сыпался тонкими струйками там, где доски прилегали друг к другу недостаточно плотно, — песок повсюду трещал под ногами, и валялось много обрывков бумаги; вода в бочках была сильно замусорена окурками.

По Садовой перегоняли эвакуируемую из Подмосковья большую партию скота.

Странно было видеть в центре столицы рогатых коров и телят, неумело шагающих по гладкому асфальту, наполняющих воздух костяным перестуком копыт и запахом парного молока и хлева.

На углу улицы Горького и Садовой, около входа в метро, несколько десятков москвичей наблюдали, как зенитки не подпускали к городу самолеты врага. Там, где-то за Петровским парком, а значит, в сторону Тимирязевского района, на страшной высоте, если всмотреться пристально, порой появлялись какие-то черные крупинки, — никаких звуков оттуда не доносилось, но зато совершенно отчетливо было видно, как мгновенно вспыхивают облачка разрывов от зенитных снарядов цвета расплывающейся, размытой копоты; мгновенный блеск, и на глазах распускается маленький траурный цветок.

В диком несоответствии со зрелищем огромного стада на асфальте и воздушного боя у самой черты города вривалась в городские звуки какая-то нелепая, веселая, разухабистая музыка, низвергавшаяся из громкоговорителя, укрепленного где-то сверху на одной из угловых крыш. Зоя подумала: «Вероятно, какой-то ничем не

прошибаемый чинуша, дурак к тому же, перепутал пластинку». Хотелось зажать ладонями уши. Зоя быстро спустилась в метро.

Дома на крыльце сидела старая партизанка Александра Александровна. Увидев Зою, она торопливо — двумя затяжками — испепелила папиросу и, далеко забросив окуроч, сказала:

— Только что приходил твой товарищ.

— Кто?

— Я ни разу его у тебя раньше не видела.

— Одна рука забинтована?

— Да.

— Давно он был?

— Я не понимаю, как вы разошлись, — только что тебя спрашивал.

Зоя побежала догонять Ярослава. Нет! Его уже нигде не видно. Зоя не шла — она бежала почти до самой школы. Но ведь в школе — воинская часть и у подъезда часовой никого из посторонних не пропускает. Зоя пошла к матери Пети. От Марфы Филипповны она узнала, что еще вчера «всех ребят забрали рыть окопы: Петя, Димочка, Коля Коркин — все поехали, и Терпачев поехал с ними. Хромов Ярослав тоже приходил, просился в компанию к ребятам — этого не взяли, рука поврежденная».

— А ты чего это простоволосая разбегалась? — спросила Марфа Филипповна с упреком Зою. — Теперь тебе никак нельзя отходить от мамы — так и держитесь теперь кучкой. Видишь, и директор наш собрался в путь, в дальнюю дорожку.

В самом деле, возле конюшни стоял широкий ломовой полук с впряженным в него слепым конем Буркой. Директор Василий Петрович помогал Петинному отцу увязывать погруженные на полук большие узлы, какие-то заколоченные ящики, корзины и чемоданы.

3

Теперь осталось только одно — увидеть Ярослава. Но как его найти? Зоя никогда не заходила к нему на квартиру, но где он живет — знала.

Случилось невероятное: дом, где жил Ярослав, исчез! Да, исчез — его больше не существовало. Уцелела только одна стена — остальное было поднято в одно мгновение на воздух и раскидано, разметано, разбрызгано во все стороны. Всякого рода обломками, кирпичом, известкой, рваными, пережеванными бревнами, досками и перекрученными лоскутами железа завалило проезжую часть переулочка; на голых ветвях деревьев болтались на ветру разноцветные шматки мятых, изорванных тряпок. Сначала Зоя подумала, что она не туда попала, спутала переулок, ошиблась. Но когда убедилась, что именно здесь жил Ярослав, она потеряла способность соображать, не

могла связать концы с концами, и ей вообразилось, что погибло все и что это случилось во время последней бомбежки, то есть миновавшей ночью, когда мама, Шура и она, наговорившись вволю, все спали безмятежно. И что в этой ужасной, разъятой яме, с уже натекшей в нее грунтовой водой, погребена не только вся семья Ярослава и его рояль, но и он сам! А на деревьях, может быть, это остатки его одежды...

Пусть этот нелепый кошмар вторгся в ее мозг всего на какую-то микродолю секунды, все равно она была так потрясена, что от изнеможения тут же опустилась на какое-то бревно среди развалин.

Что за чепуха! Как мог погибнуть Ярослав, если он только что заходил и спрашивал о ней у старой партизанки?! Нет, он, конечно, жив и даже ищет ее. У него непоправимое горе, и он одинок! Катастрофа произошла, когда он был в совхозе.

Где же можно найти Ярослава? Где?

Зоя останавливала прохожих и спрашивала: когда это случилось? Около недели тому назад. Зашла в один из соседних домиков спросить, кто погиб. Все погибли! В подвале дома, где жила семья Ярослава, было убежище — бомба прошла насквозь и всех перемолола, пережгла во взрыве. Оставались ли в доме в момент взрыва врач Хромов и его жена? Никто на это ответить не может. А где теперь живет их сын Ярослав? Никто не знает!

Зоя пошла в районное отделение милиции. Там посоветовали обратиться в центральный штаб — туда стекались все сведения о жертвах. Но и в центральном штабе ничего точного сказать не смогли. Потом Зое пришла мысль, немного успокоившая ее: если Ярослав приходил к ней, значит, он может прийти еще раз. Обязательно придет!

И только после этого Зоя вспомнила о том, что завтра она должна первый раз в жизни прыгать с крыла самолета, и сразу с высоты трех тысяч метров!

4

Секретарь МК комсомола запомнил ее фамилию. Он встретил ее стоя и, как только она затворила за собой дверь его кабинета, сразу же огорошил ее отказом:

— Космодемьянская, мы решили тебя не брать!

— Как так не брать? Почему не брать?—спросила Зоя, не веря еще тому, что она услышала.

— Мы уже набрали комсомольцев, сколько нам нужно.

— Это издевательство! Да нет, я этому не верю! Вы просто испытываете меня, хотите запугать трудностями.

Секретарь улыбнулся, — эта сероглазая комсомолка с мальчишеской прической своей настойчивостью и волей нравилась ему все больше и больше. «Десять, двадцать бы

таких девушек в отряд!»- подумал он и сказал Зое:

— Хорошо, Космодемьянская, если ты не передумала за ночь, пойдешь с партизанским отрядом в тыл врага.

Он присел у стола и взял ручку. Зоя тоже опустилась на стул, кусая губы и с трудом удерживаясь от слез радости. Казалось, что невозможно усидеть на одном месте, не вскочить, не запрыгать под самый потолок и не надеть еще каких-нибудь детских глупостей, потому что то чувство, которое только что зародилось, не могло вместиться не только в ней самой, но и во всей этой комнате.

Спокойствие ей возвратил голос секретаря. Он издали показал ей большой лист бумаги и сказал:

— С этой минуты, когда и ты занесена в списки, ты должна запомнить раз навсегда: никому и никогда — ни единого слова о том, куда ты уходишь и какое поручено тебе задание!

5

Все отрезано...

Теперь бессмысленно искать Ярослава — она не имеет права что-либо сказать ему. «Никому! Ни Пете Симонову, ни Димочке, ни брату Шуре, ни Лизе Пчельниковой — никому. А маме? Мама — это я! Маме можно. Мама дала мне жизнь, и теперь, когда я готова пожертвовать этой жизнью ради спасения Москвы, — маме можно! Это все равно что сказать самой себе».

В первую минуту Любовь Тимофеевна даже не стала отговаривать Зою. Она тихо села к столу и заплакала. Нет, никогда она не обманывала себя надеждой, что Зоя уедет в Сибирь к бабушке, — Любовь Тимофеевна слишком хорошо знала свою дочь. Она понимала, что никакие уговоры теперь ничему не помогут. Оставалось только одно: необходимо, чтобы Зоя совершенно ясно себе представила, на что она идет. Городской девочке в восемнадцать лет — с городским только опытом — разве возможно представить, что ждет ее ночью в лесу под открытым небом, в тылу врага, или даже — о боже мой! — в руках у врага?!

Любовь Тимофеевна, не вытирая обильных слез, подошла к умывальнику, налила в него из ведра воды и долго умывалась, не произнося ни слова; она не торопилась начинать разговор с дочерью. Пусть Зоя не думает, что это обычная материнская слабость и раз навсегда, на веки веков установленный у всего человечества ритуал прощания родителей со своими детьми, улетающими из родного гнезда. Нет, здесь нечто гораздо более важное, и Зоя должна это понять. Должна!

— Зоя, ты девочка, ты не мальчик, ты с детства жила только в городе, и ты даже не можешь вообразить, — для этого у тебя просто еще нет достаточного опыта, — какие

трудности тебя ждут. У тебя могут иссякнуть силы, и ты сама, будучи даже ни в чем не виновата, подведешь своих товарищей.

— Мама! — перебила ее Зоя. — Не пугай меня — не поможет. Меня достаточно уже пугал товарищ из МК комсомола. Не плачь и не трать слов. Давай просто тихонечко посидим друг около друга. Ты просто не заметила, как твоя дочка стала большая... А Шура пускай думает, что я уехала к бабушке и дедушке. Если бы ты знала, как мне мучительно тяжело скрывать это от Шуры! Но он поймет когда-нибудь и все мне простит.

А Ярослав? Как быть с Ярославом? Разве можно допустить, чтобы кто-нибудь сказал ему, что Зоя и впрямь уехала к дедушке и бабушке?!

Она оставила у старой партизанки записку для Ярослава:

«Прощай! Никто не должен знать, куда я ушла. Зоя».

Спор возник из-за шерстяной фуфайки. Любовь Тимофеевна незаметно засунула ее на самое дно Зонного мешка, — Зоя все-таки увидела и вытащила. Она сказала:

— Я не хочу тебя грабить. Ведь фуфайка зимой — это твое единственное спасение.

Вытащила обратно из мешка и отложила Зоя и еще кое-что из белья.

— Мама, — запротестовала она, — ведь я же еду не на курорт, не в санаторий — все придется таскать на своей собственной спине.

Любовь Тимофеевна мягко отвела руку Зои в сторону, и фуфайка опять оказалась в мешке. Потом заставила Зою принять от нее пятьдесят рублей — последнее, что оставалось у нее до полочки.

— Возьми, — попросила она, — может, где-нибудь молочка себе купишь!

Трудно было прощаться с братом.

Шура обрадовался, узнав, что Зоя наконец уезжает из Москвы совсем. Он протянул сестре, по всегдашнему обычаю, только руку, — чувствительных сцен они терпеть не могли оба. Он попросту попросил ее:

— Передай привет дедушке и бабушке!

Но Зою мучило сознание своей невольной вины перед братом, — она порывисто, неумело и неожиданно даже для самой себя обняла брата и крепко поцеловала.

Направляясь к трамвайной остановке, Зоя в последний раз прошла тем путем, по которому несколько лет ходила в школу, чаще всего вместе с Ириной.

Вот и она, 201-я школа! Часовой у подъезда. А здесь, ближе к улице, у самых ворот, второе от входа, — деревце дружбы. Все деревья стояли в школьном саду уже совершенно обнаженные, и на нем уцелел лишь один-единственный золотой листик.

Чуть побрызгивал дождик, и в этот пасмурный и такой серенький день яркий единственный листик манил к себе издали, как золотой огонек.

Зоя вошла за ограду, взялась одной рукой за мокрый ствол деревца, подтянулась на носках, сорвала золотой огонек и спрятала его у себя на груди в маленький карманчик

кофточки. И точно сразу ее что-то согрело.

Прощай, школа! Прощайте, друзья: прощай Ярослав, прощай, Лиза Пчельникова, прощайте, Петя, Димочка и ты, Терпачев, — прощайте все!

6

Пункт сбора назначен был прямо на тротуаре, у билетной кассы кинотеатра «Колизей» на Чистых прудах. День этот хорошо запомнился тем комсомольцам, которые, так же как Зоя, явились сюда с небольшими вещевыми мешочками за спиной: это было 31 октября.

Быстро — так, что ветер свистел в ушах, — комсомольцев увезли в открытом грузовике с Чистых прудов в Кунцево — ближайшую дачную местность на западе от Москвы.

Большой пригородный поселок уже почти слился с городом: от Кунцева до знака «Москва», установленного на широкой автостраде Москва — Минск, не более двух-трех километров.

На пути в Кунцево, недалеко от Поклонной горы, — где, как известно, Наполеон в 1812 году тщетно ожидал, когда же наконец придут сюда со склоненными головами представители от побежденного города и положат к его ногам ключи от Москвы, — Зоя впервые увидела противотанковый ров, один из множества рвов, вырытых москвичами на подступах к Москве. Здесь же, в особо танкоопасных местах, саперы устанавливали колючие «ежи», сваренные из двухметровых отрезков железнодорожных рельсов. Все это промелькнуло почти мгновенно. Вот уже и Кунцево. Здесь в нескольких дачах и расположились партизанские отряды народных мстителей. Зоя вместе со своими новыми подругами попала в одну из комнат пустовавшей по случаю приближения немцев дачи академика О. Ю. Шмидта, создателя новой теории происхождения звездных миров. В этой даче жили одни только девушки, для парней отвели соседние домики.

Отныне все происходило без каких-либо задержек — дорог был каждый час: фашисты неумолимо приближались к окраинам Москвы. Все силы, все средства были брошены на то, чтобы врага остановить. С этой целью создавались и партизанские комсомольские отряды.

Судьба не была снисходительной к этим юношам и девушкам: времени на боевую подготовку отпустила в обрез — буквально всего лишь несколько дней.

Зоя как раз об этом и мечтала: немедленно начать бороться с врагом, сделать все возможное и даже невозможное, лишь бы не позволить фашистами появиться на улицах Москвы. Зою лихорадило от нетерпения все узнать и завтра же научиться всему, что необходимо уметь партизану — народному мстителю. В ее юной голове не укладывались мысли о резервах, о том, что где-то там, в глубоком тылу, идет обучение

огромных воинских масс, подготавливаемых верховным командованием для будущих ударов по врагу, что эвакуируемые, перебрасываемые на восток заводы, работающие на оборону, еще не скоро принесут свои плоды, что окончательная победа будет созреть мучительно медленно. Сейчас Зоя думала только о смертельной опасности для Москвы, и вопрос о победе для нее был неотделим от судьбы Москвы: если погибнет Москва, значит, все погибнет! Самым мучительным для Зои было бы чего-то ждать. Нет, ей подай сегодня, в крайнем случае завтра, и все сразу. Она жаждала возможности вложить всю себя, без остатка, в подвиг: сорвать замысел врага, опрокинуть и победить!

В первый же день прибытия в Кунцево, сразу же после обеда, всем выдали личное оружие. Зою это наполнило чувством глубокого удовлетворения. Ей достался наган Тульского завода, № 12719, выпуска 1935 года. Она обрадовалась ему, как мог бы обрадоваться пистолету какой-нибудь мальчишка. Она сразу вспомнила о Шуре. В самом деле, есть чем гордиться: для нее было что-то поразительное в том, что всего лишь сегодня утром она была еще дома, с мамой, а сейчас держит в руках смертельное для врага оружие, в любую минуту может нажать на боевой спуск нагана и выстрелить. Очень скоро Зоя поняла, что ее судьба зависит теперь от двух, совершенно не похожих друг на друга людей: от майора Прогиса, командира партизанской части, и комиссара Кленова, который отвечал за морально-политическую подготовку отрядов и всех «прошупывал», чтобы не затесался среди партизан какой-нибудь малодушный хлюпик или же и вовсе предатель.

Уже через полчаса по прибытии в Кунцево все новички знали, что комиссара Кленова партизаны между собой иначе не называют как «папаша». Он первый встречал прибывающих в распоряжение Прогиса комсомольцев и проводил с ними беседу. Значительную часть времени при этом он употреблял на то, чтобы внушить уважение к Прогису.

Оба они много курили. Но Прогис курил готовые папиросы и вынимал их из аккуратного серебряного портсигара, а комиссар непрерывно посасывал короткую трубку и набивал ее табаком из дешевенького ситцевого кисета. Все было подтянуто и пригнано у майора Прогиса, — обмундирование сидело на нем так, словно он шил его по специальному заказу у лучшего портного. Комиссару тоже только что выдали новенькое обмундирование, и мешковатая гимнастерка топорщилась на нем так, словно он в первый раз в жизни надел ее только сегодня утром, а вечером уже снимет и больше никогда не будет носить. Он был похож на утомленного, пожилого мастера с завода, начальника цеха какого-нибудь вредного производства: цвет лица он имел нездоровый, его желтоватые волосы густо простегивала серебряная нитка седины. Комиссара легко было представить себе в замасленной рабочей спецовке с гаечным ключом в больших загрубевших руках, отмытых теперь лишь с большим трудом с

помощью керосина, мыла и кипятка.

В первой же беседе с комсомолками, новыми подругами Зои, после того как были распределены боевые дежурства и объяснена караульная служба и девушки уже представляли себе, что им необходимо здесь изучить, чем они должны овладеть до того, как их пустят с партизанским отрядом к немцам в тыл, комиссар сказал: — Изучать разведку, подрывное дело и зажигательные средства вы будете под руководством самого майора Прогиса. Внимательно слушайте каждое слово этого товарища. Сын рабочего, погибшего во время гражданской войны, он и сам участник гражданской войны. Может быть, он расскажет вам, как он стоял на часах в Кремле, у дверей товарища Ленина. Внимательно слушайте каждое слово майора, ничего не забывайте из того, чему он вас будет учить, — это может спасти вам жизнь в тылу врага. Но не воображайте, что вас привезли сюда для того, чтобы вы окончили здесь академию. Вас обучат здесь только азбуке — самому необходимому, что должен знать партизан-диверсант, готовый отдать свою жизнь во имя родины, лишь бы не дать врагу захватить Москву. Пока вы еще здесь, ловите каждый момент — не стесняйтесь, задавайте вопросы майору и мне. Потом будет поздно! В тылу у врага вас спасет только собственный разум и те знания, тот опыт, которые вы получите здесь за те несколько дней, пока будете практиковаться.

Вопрос сейчас стоит так: жизнь или смерть. Кто из вас чувствует себя не в силах, у кого трясутся поджилки — уйди, не путайся у нас под ногами! Уйди — еще не стыдно, еще не поздно! Если ты не чувствуешь в себе силы — уйди! Впереди тебя ждет смерть, да к тому же ты еще подведешь, погубишь своих же товарищей. Приходите завтра пораньше утром — кто хочет, отпущу к маме, да еще хлеба дам на дорогу.

Зоя подумала: «И этот тоже пугает! Тоже хочет заставить прыгнуть сразу с трех тысяч метров». Но «папаша» все же очень понравился ей, — она поняла, что с этим человеком можно говорить о чем угодно, обо всем, ничего от него не скрывая.

Словно почувствовав, что Зоя думает именно о нем, комиссар показал на нее трубочкой и спросил:

— Как ваша фамилия?

— Космодемьянская.

— А ваша? — спросил он и невысокую милостивую девушку с двумя черными косами.

— Милорадова.

— Девушки! — обратился он ко всем. — У вас в помещении грязно. Это никуда не годится! Завтра вас, может быть, пошлют на задание и вы уйдете из этой комнаты навсегда, но сегодня в ней должно быть так прибрано и чисто, как будто вы собираетесь здесь жить лет двадцать.

Комиссар с размаху ударил спичкой по коробку, точно высекал искру из камня. Он вновь раскурил погасшую было трубочку.

— Космодемьянская и Милорадова! — приказал он. — Вымойте пол и через двадцать пять минут доложите мне об исполнении!

Тон комиссара и самое существо задания Зое показались обидными. Чистота и порядок, конечно, необходимы, но что же получается? Пришла она в госпиталь на второй или третий день войны, просила дать ей работу — ее заставили мыть пол; приехали в совхоз, и в первый же день ей пришлось мыть пол; позавчера у мамы, само собой разумеется, вымыла пол; наконец добилась-таки своего — приехала уничтожать врага, а вот снова: «Космодемьянская, вымойте пол!»

— Товарищ комиссар! — сказала Зоя. — По-моему, мыть полы надо заставлять тех, кто проштрафился, не выполнил какого-нибудь задания.

— Мы здесь живем не «по-моему» и не «по-твоему», — строго сказал комиссар, — мы с вами прежде всего партизаны. И пока что штрафников у нас здесь не было. А теперь приступайте к выполнению задания: мойте пол! Пять минут вы уже потеряли, так что доложите мне об исполнении через двадцать минут!

Последние слова плохо вязались со всем внешним обликом комиссара и с прозвищем «папаша». Зое показалось даже, что комиссар насильно заставляет себя выдерживать до конца эту роль и что губы слушаются его, а в прищуренных глазах, как золотая рыбка, прячется ласковая отеческая усмешка.

7

На другой день с утра занялись изучением личного оружия: уметь разобрать наган, устранить, если таковые имеются, любые помехи, вычистить и смазать как полагается все детали и снова собрать наган.

Стояла холодная погода, но было совершенно безоблачно. Перед рассветом дождик прекратился. Солнце и небо глубокой, незапятнанной синевы неузнаваемо изменили весь пейзаж, словно ночью, пока все спали, дачу неслышно перенесли куда-то в другую местность. Легкий ветер, не достигая земли, проходил высоко и сушил вершины сосен, в изобилии стоявших на всех дачных участках: слышался многоголосый мягкий гул хвои, как глухое, далекое дыхание какого-то дружелюбного огромного существа.

Девушки занимались на открытой со всех сторон террасе своей дачи, разложив детали оружия на широком столе. Руководил занятиями белокурый парень, сам похожий на переодетую девушку: тоненький, беленький, чистенький и почему-то еще не загоревший. Он сильно смущался, краснел и смешил девушек тем, что натужно хмурил свои белесые брови, чтобы придать лицу более мужественное выражение. Заметно было, что Клава Милорадова, которая вчера вместе с Зоей мыла пол, когда надо и когда не надо, лишь бы позабавить девушек, вгоняет этого парня в краску тем, что поминутно спрашивает его: «Товарищ начальник, разрешите обратиться?»

Этот же парень, построив девушек как полагается, повел их на просеку в дачный лес. Здесь они стреляли по мишеням из личного оружия боевыми патронами. Вернулись на террасу и снова разбирали и собирали свое оружие, чистили его после стрельб, смазывали и собирали.

После обеда занялись винтовкой. Так увлеклись этим делом, что никто не заметил, с какого, собственно, момента находится среди них и наблюдает за ними майор Прогис, неслышно, как разведчик, поднявшийся к ним на террасу по ступенькам крыльца. Все вздрогнули, когда он наконец выдал себя, сказав громко, может быть, даже излишне громко, почти что торжественно:

— Никогда не расставайтесь с оружием! Если выпустите оружие из своих рук — оно окажется в руках врага. — И потом уже обыкновенным, располагающим к беседе голосом добавил: — Можно отдохнуть, девушки, садитесь, я расскажу вам о том, что однажды случилось со мной.

Зоя села недалеко от Прогиса, на перекладине перил, выкрашенных белой краской, некоторые девушки устроились на просохших уже после вчерашнего дождя ступеньках крыльца, а кой-кто прямо на краю стола, отодвинув детали винтовки и свесив ноги.

— Это было давно, — начал Прогис, — во время гражданской войны. Вас еще не было на свете, но суть дела от этого не меняется. Случись это со мной сегодня или завтра, я действовал бы точно так же, как действовал тогда.

Во время революции, как вы, вероятно, уже догадываетесь, девушки, я не был майором, а чином немного пониже: мне было четырнадцать лет, и работал я у помещика пастушонком. Дело было в Латвии.

«Зачем хвалится происхождением, — подумала Зоя, — рассказывал бы сразу». Но слушала она его внимательно, он ей нравился, она чувствовала, что этому человеку надо верить во всем. Выражение лица у него все время сохранялось праздничное, как будто майор только что пережил какое-то радостное событие: устойчивая улыбка все время не оставляла его, продолжал ли он говорить или, чтобы подыскать какое-нибудь более выразительное слово, ненадолго смыкал губы; улыбались все время и его яркие синие глаза. Зоя подумала, что люди с таким устойчивым выражением лица очень полезны на дипломатической работе. Прогиса легко представить себе в гражданском парадном костюме с галстуком.

— Пятнадцати лет, — продолжал Прогис, — я ушел из дому в партизанский отряд. — Он снял пилотку и пригладил рукой свои волосы, светлые, как хорошо расчесанная льняная кудель. Ресницы у него тоже были очень светлые. — Однажды я пришел на ферму к своему помещику и попросил на кухне у его кухарки напиться воды. Кухарка пристально посмотрела на мои босые ноги, на руки (я пришел без оружия) и почему-то пожалела меня — вместо воды налила огромную кружку молока и отрезала увесистый ломоть хлеба, такой, что если уронишь, то, как говорится, ушибешь ногу. Только

начала она было посыпать хлеб солью — ее зовут в дом, к барину. Уходя, она сказала мне: «Посоли себе сам и кушай на здоровье!»

Я успел сделать только один глоток — входит на кухню балтгвардеец с винтовкой (так у нас в Латвии называют белогвардейцев). Взял он у меня из рук кружку и говорит: «Ступай живее запряги лошадь!»

Он подумал, что я работник с этой фермы, и принялся, негодяй, пить мое молоко. А мы в партизанском отряде в это время голодали. Обидно мне стало, но делать нечего — у него винтовка, а у меня пустые руки.

Девушки слушали с напряженным вниманием. Прогис сунул руку в карман — вытащил портсигар. Улучив момент, когда он замолчал, чтобы присосать от спички огня, Зоя не утерпела и спросила:

— Товарищ майор, разрешите задать вопрос?

— Как ваша фамилия? — спросил Прогис.

— Космодемьянская.

— Та, которой вчера не нравилось мыть пол?

Зоя хотела спросить: «Откуда вам это известно?», но смутилась и молчала.

— Задавайте ваш вопрос, Космодемьянская, — ободрил ее Прогис. — Задавайте!

— Вот вы нам сказали: «Никогда не расставайтесь со своим оружием, не выпускайте его из рук».

— Сказал!

— А где же было ваше оружие, когда вы встретились с белогвардейцем и оказались в беспомощном положении, и руки у вас, как вы выразились, были «пустые»?

— Законный вопрос! — Прогис глубоко затянулся и выпустил дым, обернувшись в сторону леса, как будто он сидел не на террасе, а в закрытой комнате и выпускал дым через форточку. — Свое оружие я сдал командиру нашего отряда. Командир дал мне специальное задание: идти на ферму именно «с пустыми руками» и разведать, есть ли на ферме-белогвардейцы или их там нет.

Имейте, девушки, в виду, — продолжал Прогис, — вам тоже не раз придется сдавать наган своему командиру. Ваша задача: ничем не отличаться от местного населения. Если вас схватят в деревне, оружие при обыске вас только погубит. А не выполнив задание по разведке, помимо собственной бесполезной гибели, вы подведете под удар и весь свой отряд. Понятно, Космодемьянская?

— Само собой разумеется!

Девушки рассмеялись. Сначала показалось, что такой категорический ответ понравился и Прогису, но он сказал:

— Товарищи, обращаю ваше внимание, что отвечать командиру так, как мне ответила сейчас Космодемьянская, для партизан не положено. В партизанском отряде тоже должна быть четкая субординация и максимальная экономия времени при ответах

командиру. Космодемьянская, чтобы ответить на мой простой вопрос: «Понятно?», затратила целых три слова: «Само собой разумеется!», — в то время как вполне достаточно только одного слова: «Понятно». Я не говорю уж о самом тоне ответа.

— Извините меня, пожалуйста, товарищ майор! — сказала Зоя, спрыгнув с перил и сильно покраснев.- Это у меня осталась еще такая школьная привычка.

— Товарищ майор! — сказала Вера Волошина, красивая белокурая комсомолка с толстой косой.- Космодемьянская вас только сбила. Расскажите, что же было с лошадью?

— Да, да! Расскажите! — присоединились к ней девушки.

А Зоя, справившись со своим смущением, попросила:

— Нет, уж вы лучше расскажите, что было с вами, а не с лошадью!

— Само собой разумеется, расскажу! — повторил Прогис смеясь и продолжал рассказ о белогвардейце: — Белогвардеец пьет за меня молоко, наслаждается, а я запрягаю для него в телегу лошадь. Все сделал, как надо, только вот нога у меня не достает, чтобы затянуть хомут: поставлю ногу на клешню хомута, поднатужусь, тяну за супонь, а нога у меня срывается с клешни — мал ростом: Ну никак! Выходит белогвардеец из кухни, облизывается от моего молока, а у меня еще не готово. Он подобрел от молока и решил мне помочь. Поставил свою винтовку к стене, оттолкнул меня от лошади рукой и проговорил: «Кишка у тебя, мальчик, тонка — мало каши ел!» Только он обмотал супонью раза два руку, чтобы удобнее было затягивать, задрал ногу на клешню, а я тем временем — раз! — схватил его винтовку и щелкнул затвором, наставил на боевой взвод!

Остальное, — закончил Прогис и посмотрел, по-прежнему не переставая улыбаться, на Зою. — Все остальное — уже само собой разумеется! Я привел белогвардейца в свой отряд и сдал его на руки нашему командиру вместе с его же винтовкой. А для тех, кого интересует судьба лошади, могу добавить, что не только лошадь, но и телега тоже попали в наш отряд. Теперь понятно, Космодемьянская, почему нельзя выпускать оружие из рук?

— Понятно, товарищ майор!

Девушки повскакали со своих мест, окружили Прогиса и, перебивая друг друга, принялись задавать ему вопросы.

— Нет, товарищи, отставить! — оборвал их Прогис.- Так не пойдет! Не вижу порядка — отставить! Побеседуем в другой раз — я должен уходить. Вместо себя я сейчас пришлю вам товарища, он ознакомит вас с оружием врага: кольт, браунинг, парабеллум, пистолет-автомат... Всем этим надо научиться пользоваться. От этого будет зависеть ваша жизнь. Не забывайте, что вы попали всего лишь в «пятидневную академию» — больше нам здесь времени не отпущено, пользуйтесь каждой минутой. Завтра займемся подрывным делом, будем изучать материалы и средства для поджогов. Наша

с вами задача: найти врага, выжечь его, выкурить из норы, выгнать из-под крыши на мороз, жечь, рвать на куски гранатами и так или иначе, но во что бы то ни стало уничтожить! Надо, чтобы под его ногами горела земля. Мы это сделаем, девушки, вместе с вами. Мы не отдадим ему Москву!

Майор взбудоражил девушек. Невозможно было теперь молчать и сидеть на одном месте, — хотелось хоть что-нибудь сделать сейчас же, только бы поскорее идти в тыл к фашистам и начать там действовать.

Зоя заложила руки за спину, переплетя пальцы, и, глядя через решетчатый заборчик дачи в глубину леса, запела:

Дан приказ: ему — на запад,
Ей — в другую сторону...

Девушки дружно подхватили:

Уходили комсомольцы
На гражданскую войну.

Услыхав голоса девушек, ребята-партизаны, уже ходившие по тылам на выполнение боевых заданий, тоже запели на соседней даче:

Слушают отряды песню фронтовую...

Два хора некоторое время перекликались и соперничали друг с другом, но вскоре песня ребят начала забивать девушек, одолевать. Услыхав совершенно незнакомые им слова какой-то новой песни, девушки одна за другой постепенно умолкали и только жадно слушали.

Мы смерть несем предателям, шпионам,
Где мы пройдем — там след былъем порос.
Гремят мосты, и мчатся эшелоны
Под грохот взрывов прямо под откос!

8

На другой день занятия, начались с семи часов утра в ложбинке за речкой Сетунь: бросали ручные гранаты различных типов — наши и вражеские, в том числе круглые «лимонки» и немецкие «стаканы» с длинными деревянными рукоятками; изучали мины, тоже разных марок: шоссейные мины с часовым механизмом, металлические, противотанковые «блины» и в деревянных ящиках мины против пехоты, «трясучки»

для железнодорожного полотна, поднимающие паровоз на воздух.

В середине дня шли практические занятия по ориентировке на местности: учились «читать карту» и ходить с компасом «по азимуту». После обеда, во второй половине дня, группы изучали подрывное дело: расчеты взрывчатки на квадратный сантиметр дерева, бревна, опоры моста, которые необходимо взорвать, типы подрывных механизмов и способы взрывания. При этом каждый практиковался: взрывали пни и деревья, инструктор показывал, как надо распределять толовые шашки, чтобы подорванное дерево падало в нужном направлении. Таким способом в короткий срок можно было соорудить непроходимый для танков завал.

Времени на всю программу было так мало, что все это делалось наспех, но другого выбора» не было — немцы не будут ожидать, когда комсомольцы как следует изучат все эти приемы, механизмы и материалы.

К вечеру и девушки и парни — все устали. Слипались глаза. После ужина Клава Милорадова, распустив черные косы и взявшись за расческу, попробовала было запеть, но ее поддержали недружно. Некоторые девушки вспомнили о доме и принялись за письма. Зоя штопала чулки. Вера Волошина решила сменить лямки у вещевого мешка, старалась сделать их пошире, чтобы в походе не натерло плечи.

— Ой, девочки, — зевнула со стоном Клава Милорадова, — ну до чего же спать хочется, прямо никакого спасу нет! — Она уже укрывалась с головой одеялом.

— Тушить свет? — спросила Волошина.

Все улеглись. Но Зоя не легла, она только села на кровать и расстелила поверх одеяла газету. Она решила потренироваться в темноте: разобрать наган ощупью и снова его собрать. Ей тоже очень хотелось спать, но она заставила себя быть внимательной, и сонливость куда-то пропала.

Через несколько минут Клава Милорадова заворчала, высунув голову из-под одеяла.

— Космодемьянская, когда ты перестанешь возиться над ухом? Не даешь спать, шуршишь газетой, как мышь какая-нибудь!

Зоя спокойно ответила:

— Я хочу научиться разбирать и собирать наган в темноте. Ведь может же так случиться, что ночью он откажет где-нибудь в лесу и надо будет в темноте устранить помеху?

— Ой, верно, девочки! — сказала Клава. — Давайте потренируемся. — И, усевшись на кровати по-турецки — скрестив ноги, она принялась разбирать наган прямо у себя на коленях. Ее рубашка чуть белела в темноте.

Вера Волошина, лежавшая с другой стороны от Зои, тоже приподнялась и спустила ноги с кровати. Она сказала:

— Давайте премируем Космодемьянскую воздушным поцелуем за проявленную инициативу. В самом деле, надо потренироваться. Только давайте оденемся, а то

схватим насморк — «папаша» не пустит с партизанами. Какой же это разведчик, если вдруг можешь чихнуть под самым носом у немцев? — И Волошина натянула поверх рубашки свитер.

В комнате ничего не было видно, но Зоя слышала, что в разных углах зашевелились еще несколько девушек, скрипнули кроватями, — по-видимому, они тоже начали возиться со своим личным оружием. Неожиданно какая-то мелкая деталь проскочила у Зои между пальцами, стукнула, как косточка, о доску пола и покатила. Зоя быстро опустилась на колени и принялась искать, шарить вокруг себя рукой на полу, но найти не могла.

— Подожди, — сказала Волошина, — я зажгу лампу, а то хуже сделаешь — загонишь в какую-нибудь щель, не найдем до утра.

Но и при свете долго не могли найти коварный винтик — он оказался далеко от Зои, под четвертой от нее койкой, у самой стены. Зоя заметила, что помогали искать решительно все, все до одной девушки. Клава Милорадова и вместе с нею маленькая рыжая девушка все время ворчали на Зою за то, что она так не вовремя всем задала работу, но и они все-таки ползали на коленях, искали.

Зоя чувствовала себя виноватой, но, уже засыпая, подумала о том, что не плохо все-таки получилось: сегодня вечером они больше узнали друг друга и стали как-то ближе; яснее теперь, на кого можно в случае чего рассчитывать...

Нет, никто не попросил у «папаши» хлеба на дорогу, и никто не отправился домой, к маме. Зоя пересчитала утром, перед занятиями, своих новых подруг — все были на месте. Трусов не оказалось. Никто не ушел ни на второй день, ни на третий после предложения комиссара Кленова, и вообще никто из московских комсомольцев, прибывших в партизанскую часть майора Прогиса, и не думал даже проситься назад, домой.

Каждый день проходили напряженные занятия: опять ходили «по азимуту», бросали гранаты и бутылки с горючей смесью, ставили и взрывали мины, практиковались с термитными зажигательными шариками, стреляли по мишеням.

За все время было только одно чрезвычайное происшествие: на рыженькой девушке, студентке Московского педагогического института, загорелось пальто. Ее спас майор Прогис: он мгновенно оборвал на ней все пуговицы и буквально вытряхнул девушку из пальто, точно снял с нее кожу. Через полчаса каптенармус на складе уже подобрал для рыженькой по росту ватные брюки и теплую курточку.

Зое нравились занятия по разведке — их проводил сам Прогис. Он требовал, чтобы разведчик умел выделить из всего, что он видит, самые существенные признаки. Занятия с Прогисом, которые он проводил под девизом: «Ни шагу без разведки!», никого не утомляли, наоборот, они воспринимались как отдых: он все время перемежал их шутками и дополнял примерами из своего личного опыта. Всех

рассмешил его анекдот о городском жителе, которому дали задание проверить, можно ли пройти через деревню, нет ли там неприятеля? Вернувшись из разведки, он будто бы доложил:

- Через деревню может пройти артиллерия и кавалерия, а пехота пройти не может.
- Почему пехота пройти не может? — спросил командир.
- Потому что в деревне есть собаки!

9

Первый поход в тыл к врагу Зоя считала неудачным. Она так и не увидела ни одного немца, хотя отряд подорвал на Волоколамском шоссе три немецкие грузовые машины, и это она была, Зоя, кто стоял в боевом охранении, кто первым заметил приближение машин и, как было условлено с командиром отряда Грицько, подала сигнал: два раза стукнула рукояткой нагана по железной крышке противотанковой мины.

Все было в первом походе не так, как представляла она себе это раньше. Во-первых, никакого рубежа не оказалось. И вообще такое ощущение, что бессмысленно ходить тихо и говорить шепотом. Это игра ка-кая-то, а не война. От похода у Зои осталось впечатление, будто командир отряда Грицько больше всего страдал оттого, что ему с Милорадовой нельзя громко петь украинские песни, и делал все от него зависящее, чтобы как-нибудь нечаянно не произошла бы встреча отряда с немцами.

Ощущение игры началось у Зои еще в Кунцеве, с той самой минуты, как Милорадова и Грицько, сидя уже в кузове грузовика, выяснили, что они земляки. Вообще эта пара как-то сразу подошла друг другу. Не прошло и десяти минут, как они уже затянули на два голоса «Реве та стогне Днипр широкий» и весь отряд стал им подтягивать. Грицько прекратил пение и нахмурился только километрах в восьми от рубежа, когда пора уже было выходить из машины.

После возвращения в Кунцево Грицько доложил Прогису о результатах похода, но Зоя при этом не присутствовала и не слышала, какой там у них происходил разговор. Зато комиссар Кленов беседовал с каждым из возвратившихся партизан отдельно.

— Ну что там у тебя, Космодемьянская? — спросил он у Зои. — Товарищи говорят, ты недовольна?

— Какая же это война? — повторила Зоя фразу, которую от нее слышали в походе Грицько, и Волошина, и все другие спутники по отряду. — Это игра какая-то, а не война.

— Ну, давай выкладывай, что там у тебя? Потом уж вместе как-нибудь соберем все обратно по винтику и приготовим оружие к бою, — проговорил Кленов, с возрастающим интересом поглядывавший на Зою и по этой причине даже медливший раскуривать свою уже набитую было табаком трубочку.

Зоя подробно изложила ему все свои сомнения.

— Ну, а что ты думаешь о своих товарищах? — спросил Кленов и наконец позволил себе закурить.

Из ребят Зоя больше всего присматривалась в походе к Клубкову. Первая мысль о нем у Зои была: как же такой длинный детинушка спрячется в лесу от немцев? Уж очень велик ростом, грузный, дряблый, несмотря на свои девятнадцать лет, но, как видно, физически очень сильный. Зоя решила, что из-за этой силы его и включили в отряд: в случае чего поможет нести раненого товарища или потащит на своей широкой спине связанного немца.

Он выделялся и в машине, когда выезжали из Кунцева, и уже на марше, в лесу, — как только оглянешься, первым, кто обращал на себя внимание, это Клубков со своими чересчур светлыми водянистыми глазами, белесыми бровями и сдобным румянцем во всю мясистую щеку. Еще не доехали до места, откуда надо было пробираться пешком, а Клубков уже что-то отщипывал у себя в кармане, бросал издали в рот, как семечки, и все время что-то жевал.

Клубков привлек внимание Зои еще накануне, когда в отряде выдавали теплое обмундирование. Он выбрал себе непомерно большие валенки.

Зоя засмеялась.

— Что смеешься? — спросил Клубков. — Всегда выбирай обувь с запасом: портянок накрутишь, и никакой мороз не страшен! А за голенище в таких валенках, в случае чего, можно даже гранату спрятать, не то что наган.

На складе предлагали на выбор: можно брать валенки, можно сапоги. Увидев Зою в сапогах, Клубков сказал:

— Фасон держишь? Ну, если поморозишь ноги, сюда не просись, — он показал себе на плечи, — все равно не посажу!

Зоя молодцевато щелкнула каблуком о каблук и сказала:

— В сапогах легче бегать!

— Босиком еще легче! Если ты уже сейчас, Космодемьянская, думаешь, как легче бегать, нечего тебе было соваться в партизаны.

По опыту Зоя знала, что в таких случаях лучше сдержаться, и замолчала.

Из теплых вещей она взяла на складе только ватные штаны, подшлемник и варежки. Телогрейку она отказалась надавать — под теплое пальто получалось слишком громоздко: жало в плечах и сковывало движения. «Нет, уж лучше пускай остается мамина мягкая фуфайка — родное греет теплее».

В отряде Зое все больше и больше нравилась Вера Волошина — голубоглазая, с светло-русой толстой косой, с лицом немного пухленьким, но очень миловидная, этакая сибирская здоровая красавица. Вера была тоже очень высокая, — выше всех девушек, — крепкая, жизнерадостная. Она хорошо пела по вечерам в Кунцеве, после

занятий. Но ее жизнерадостность не была такой навязчивой, как у Милорадовой. Чувствовалось, что Вера Волошина глубже, серьезнее, чем хохотушка и бесконечная говорунья Милорадова. Понимает ли Милорадова, на какое дело она идет? Она такая трескучая сорока-болтуня, что, думается, если ей приказать помолчать, то через полчаса она от этого заболит нервным расстройством. Суждения ее поверхностны, мысли перескакивают с одной темы на другую. Не делают ли ошибку майор и комиссар, что включают в отряд эту девушку? Вот Волошина — это да! — внушает полное доверие.

О Милорадовой Зоя высказала Кленову все свои сомнения (постеснялась только сказать: не совершает ли он вместе с Прогисом ошибку, — пусть уже сам делает вывод).

Третья девушка в отряде, Ольховская, напоминала Зое Лизу Пчельникову: тихая, молчаливая, такая же у нее застенчивая улыбка, как у Лизы, и лицо продолговатое, немного постное, за что Лизу с ее длинно подрезанными гладкими волосами и прозвали в первых классах «монашкой». Такую же прическу с прямым пробором делала себе и Ольховская, тоже остриженная. «Этой бы девушке вышивать дома гладью, а не ходить в тыл к врагу», — подумала о ней Зоя. Но в то же время чувствовалось, что Ольховская, как незаметная рабочая лошадка, вытянет все, что положат на ее телегу.

О других товарищах из отряда у Зои пока не сложилось еще определенного мнения. Когда Зоя всеми этими мыслями поделилась с комиссаром Кленовым и замолчала, он спросил ее:

— Ты, мне кажется, уже говорила, что у себя в школе была комсоргом.

— Да.

— Не плохо разбираешься в людях, только торопишься с выводами. Вообще могу оказать тебе, Космодемьянская, — ты во всем разобралась правильно. Одно не могу понять: как при твоём уме и сообразительности ты не догадалась, что это был учебный рейд в тыл врага, специально для новичков.

Разве плохо, что ты ближе узнала своих товарищей, прежде чем вы попали в опасные боевые условия? Разве плохо, что ты стояла в дозоре глубокой ночью, пока твои соратники отдыхали, и от твоей зоркости и бдительности зависела их жизнь? Подвиг складывается из малых дел, а у тебя жажда подвига выпирает на первое место и заслоняет все остальное. Уж очень ты нетерпеливая. Это может тебя погубить. Не играй с огнем!

Комиссар помолчал, выколотил о каблук трубочку и, закладывая в нее новую порцию табака, спросил:

— Как питались? Горький был хлеб?

— Горький! Откуда вы знаете, товарищ комиссар?

— А сухари горькие?

— Горькие!

— Учили вас делать укладку?

— Учили!

— Плохо учили! Или вы все мечтаете о подвиге, а вещевой мешок для вас «презренная проза»? Это у вас тол просыпался на хлеб, вот оттого хлеб и горький.

После ужина комиссар пришел в общежитие к девушкам и, став на пол на одно колено, сам показал им, в каком порядке надо укладывать вещи в мешок. Потом заставил проделать это Милорадову и Зою, а сам при этом приговаривал, пока они укладывали:

— Так! Прежде всего укладывайте запасное белье. Распластайте его так, чтобы к спине было мягче. Тол на самое дно. Так! Сухари распределите порциями, чтобы каждый раз, когда захочется пожевать, не вытряхивать весь мешок. Термитные шарики — сюда.

Мины — сверху. Гранаты — за пояс.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

1

С первого же шага все совсем по-другому сложилось во время второго похода.

После того как комиссар Кленов принял на хранение от всех партизан их комсомольские билеты и все документы и еще раз предупредил, чтобы ни у кого из них не оставалось при себе ничего такого, что в случае обыска могло бы дать немецкой разведке какой-либо материал, Клава Милорадова попросила:

— Товарищ комиссар, скажите что-нибудь нам на дорогу!

Кленов нахмурился, выбил трубку и, спрятав ее в карман шинели, сказал суровым голосом:

— А что я могу вам сказать? Вы сами все знаете. Партия воспитала вас орлятами, она дала вам крылья, она учила вас всему только самому хорошему. Пришел враг и теперь хочет все у вас отнять: задушить и растерзать вашу мать, вашего отца, братьев и сестер, он хочет украсть ваше будущее и лишить вас самой вашей жизни. Что ж вам остается делать? Зайдите врагу с тыла, со спины, — рвите его гранатами, топчите, выкурите его из всех изб и землянок, а Красная Армия отсюда, спереди, отрубит гаду руки и голову!

Зое комиссар Кленов сказал отдельно, когда она уже поставила ногу на покрывку колеса, чтобы забраться в кузов грузовика:

— Не горячись, действуй умно, советуйся с товарищами и во всем подчиняйся командиру!

2

Прогис дал задание командирам отрядов: сделать все, что только возможно, пустить в дело все средства, которыми они располагают, лишь бы не давать немцам покоя, отвлекать их силы, мешать им сосредоточиться для последнего удара по Москве. Прогис посадил на машины все сформированные им и наспех обученные отряды — по десять человек в каждом — и отправил к линии фронта почти одновременно. Веселый песенник Грицько хорошо проявил себя в коротких учебных рейдах; полез он был и в самом Кунцеве, во время учебных занятий; но Прогису не нравилось его отношение к девушкам, излишне игривое, а порой и вовсе развязное. Комиссар Кленов тоже заметил в нем эту слабость, он собственно, и обратил на это внимание Прогиса. Оба они решили не отпускать от себя Грицько далеко — при постоянном наблюдении за ним он принесет гораздо больше пользы здесь, в Кунцеве, чем в походе. Помощники как раз очень нужны были: в распоряжение Прогиса из МК присылали все новые и новые группы комсомольцев.

Прогис дал в отряд вместо Грицько другого командира Бориса Крайнева, девятнадцатилетнего инструктора по физкультуре в одной из школ Ярославля. Крайневу было поручено сопровождать из Ярославля в Москву группу комсомольцев, мобилизованных обкомом. Узнав в пути, что эти ребята пойдут в тыл врага — пускаться под откос поезда, рвать гранатами и уничтожать врага, Крайнов уже не мог заставить себя вернуться в Ярославль, — он добился в МК, чтобы и его не лишали возможности пойти с партизанским отрядом.

Крайнов понравился Прогису с первого же дня пребывания в Кунцеве. Сразу выяснилось, что Крайнов умеет командовать строем, имеет отличную подготовку, так как он окончил физкультурный техникум, — ему оставалось только одно: изучить подрывное дело и средства для поджогов. Под руководством Прогиса это далось ему без всякого труда, а личным оружием и винтовкой он и так уже владел отлично. В первом же походе Крайнов оправдал доверие, теперь ему предстояло проделать второй рейд.

Поздно вечером накануне похода Прогис вызвал к себе Крайнова, и минут сорок они провели вместе, склонив головы над картой, разложенной на столе. Они изучали район подмосковного города Вереи.

По имеющимся сведениям, пока еще недостаточно подтвержденным, вот где-то здесь, километрах в двадцати от Вереи, находился штаб 197-й дивизии немцев: или в Архангельском, или в Грибпове, а возможно, что и в Петрищеве либо в Нагатине.

Можно предположить, что здесь же расположились штабы и некоторых других частей или подразделений. Отряд Крайнова путем тщательной разведки должен был уточнить эти сведения, найти штаб 197-й дивизии и уничтожить его: взорвать или сжечь. Это надо было сделать между 28 ноября и 30-м. А в ночь между 29-м и 30-м во что бы то ни стало вызвать в этом районе большой пожар. Это просил штаб наших воздушных сил. Им нужен был в эту ночь ориентир — пламя пожара должно было служить маяком. Кроме того, надо было все время мешать немцам пользоваться шоссейной дорогой Верея — Дорохово вливающейся в автомагистраль Москва — Минск. На пути к основному району действия тоже, где только возможно, надо было стараться причинять немцам вред, беспокоить их на проселках и в деревнях.

Отпуская от себя Крайнова, пожелав ему успеха, Прогис хотел подарить ему коробку папирос «Казбек». Крайнов поблагодарил, но взять папиросы отказался, отделался шуткой:

— Не умею, товарищ майор: как только начинаю курить, из левого уха дым идет.

Прогис похвалил его:

— Не куришь, и отлично! Бывали случаи — табак и дым губили партизана. Я лично, когда ходил в тыл, несколько раз чуял немца издали по чужому, не нашему запаху табака.

Пожилой капитан, которого Зоя ни разу в Кунцево до этого не видела, проводил отряд, проехал вместе с ним только до деревни Чаща Волоколамского района. Здесь находился штаб батальона, на участке которого отряд должен был перейти через рубеж. В этой деревне одна из бревенчатых изб выделялась среди остальных тем, что в ее разбитое окно, заткнутое подушками в цветастых ситцевых наволочках, как в воронку, сходились со всех сторон провода связи — верный признак расположения штаба. Крайнов и пожилой капитан провели в этой избе часа полтора, уточняли с командиром батальона обстановку; Крайнов нанес на свою карту поправки, учитывая последние данные батальонной разведки.

Из Чащи отряд к рубежу отправился уже пешим порядком, пожилой капитан на пустой машине вернулся в Кунцево. Крайнов приказал рассредоточиться, и отряд растянулся по проселку, среди голого кустарника, длинной цепочкой. Впереди шли три разведчика, выделенные от батальона, — они-то и должны были перевести отряд уже через самый рубеж.

Звуки артиллерийской перестрелки слышны были, когда еще ехали на машине. Теперь же слышны уже стали и пулеметы и даже отдельные очереди из автоматов. Но, не зная расположения переднего края, трудно было ориентироваться среди этих звуков: они слышались и справа и слева от проселка, а порой они раздавались где-то совсем сзади. Это удивляло и даже вызывало чувство неуверенности: туда ли идет отряд? Несколько раз Зоя подумала: «Может быть, там учебная стрельба?» Но впереди отряда шли три

бойца-разведчика, — какое же могло быть сомнение? Уверенно шел за ними и Борис Крайнов.

Днем, часа в три, остановились в деревне Обухове.

От всей деревни уцелела лишь одна изба и два сарая да еще обомшелый сруб колодца на околице — все остальное сгорело. Крыш ни у избы, ни у сараев не было — снесло вместе со стропилами воздушной волной; ни стекол, ни даже пустых рам в проемах окон избы тоже не осталось — все высадило огненным вихрем взрыва.

В этой избе, лучше сказать срубке, бывшем раньше избой, Зоя на застеленном соломой полу в последний раз в своей жизни пообедала вкусно, как дома: один из разведчиков принес в термосе на весь отряд горячий картофельный суп с мясом и на второе — гуляш с макаронами. Черный хлеб выпекали в походном хлебозаводе тоже не плохо, а главное — можно было есть его вволю...

Клубков старательно собрал все недоеденные корочки и набил ими карман. Заметив, что за ним наблюдает Зоя, он сказал тоном бывалого человека:

— Собак в деревнях прикармливать, чтоб не брехали.

Едва окончили обедать, немцы произвели короткий минометный налет: выпустили по деревне три залпа полковой батареей и замолчали. После пережитых в Москве бомбежек и налета авиации на железнодорожную станцию Зоя приняла разрывы мин как нечто само собой разумеющееся, привычное, тем более что убогий сруб избы создавал обманчивое ощущение безопасности..

Когда все стихло и сквозняком затащило через оконные дыры в сруб едкий запах взрывчатки, Крайнов поднялся с пола и, отковырнув от одного из бревен стены щепочку, вытащил застрявший в стене осколок мины. Зоя вспомнила коллекцию осколков Шуры и подумала: «Как хорошо, что он в Москве, — пускай бережет маму». Неожиданно Милорадова беззаботно, как на сельской вечеринке, запела:

Ой, за гаем, гаем, за зеленым гаем...

Один из разведчиков, сидевший на полу около нее, даже вздрогнул, хотя перед этим совершенно равнодушно переносил музыку рвавшихся мин. Крайнов строго прикрикнул на Милорадову:

— Отставить! Предупреждаю, чтоб это было в последний раз!

— Ну, в таком разе я буду спать!-сказала обиженно Милорадова и принялась подгрести себе в угол солому с пола. Примостившись там поудобнее, она проворчала все еще обиженно:

— Грицька немає, мы бы с ним в два голоса поспивали бы вам.

Зоя и Вера Волошина вышли за порог избы. К ним хотела было присоединиться Ольховская, но Крайнов приказал, чтобы больше чем по двое не выходили, а то немцы

могут возобновить обстрел. Вернувшись в избу, Зоя то садилась на пол, то снова вставала, попробовала даже лечь и уснуть рядом с Милорадовой, но поднялась опять и подошла к проему в стене. Ее томило бездействие. Она подняла с пола щепочку, ту самую, что отодрал от стены Крайнов, разломил ее, раскрошила на мелкие кусочки; грызла соломинку: откусывала и сплевывала; жалела, что не захватила с собой никакой книги.

— Товарищи! — обратилась она ко всем. — Нет ли у кого что-нибудь почитать? Нет, никто с собой ничего не взял. Крайнов, понимая, почему Зоя томится, дал ей свою карту, бумагу и карандаш и предложил ей попробовать снять копию, указав квадрат с деревнями: Архангельское, Грибцово и Петрищево. Зоя очень обрадовалась и, расчистив на полу место, старательно принялась за работу.

3

К вечеру поднялся сильный ветер, он разогнал облака, последние клочья их как бы сгорели, не выдержав накала яркого заката. По мере того как угасала заря и темнело, утихал и ветер. Когда совсем стихло, на небе густо вызвездило. Зоя без труда нашла созвездие Орла и, увидев звезду Альтаир, окликнула про себя: «Ирина, ау! Где ты?» Но тотчас же вместо Ирины четко, необыкновенно ярко возник в памяти образ Ярослава, таким, каким она лишь одно мгновение видела его при свете керосиновой лампочки в совхозе, в сенях избы, мокрого с ног до головы, с ледяными, постепенно согревающимися в ее руках его руками.

Рубеж переходили редкой цепочкой, рассредоточившись так, чтобы только не терять из виду спину товарища, идущего впереди. Шел третий час ночи. Было совершенно тихо, только где-то далеко-далеко гремела артиллерийская канонада. Заметно подморозило, и земля стала сухая. Но вода в речке Наре еще не замерзла, и, когда переходили ее по кладочкам, сложенным в две дощечки, видно было, как дрожат, перекатываются в ней отражения звезд, точно вода перемывала драгоценные камешки. Снимая копию с карты, Зоя многое запомнила и теперь уже знала: рубеж проходит как раз по речке Наре. Поэтому ее удивило отсутствие немецкой охраны. Зоя не подозревала, что за десять минут до того, как ступила она на доски кладочек, разведчики тихо «сняли» немецкого часового, и догадалась об этом, когда проходила уже чад самой водой и увидела, что в речке что-то лежит. Присмотрелась — человек: голова в воде, а ноги и туловище на берегу.

У кого-то под ногой впереди громко хрустнул затянувший лужицу ледок. Тотчас же вся местность озарилась нестерпимо ярким светом, и на тропинке, по которой шла Зоя, все вдруг зарябило от передвигающихся теней стволов и веток, вызывая такое ощущение, будто об эти тени можно споткнуться. Зоя мгновенно упала на руки и распласталась на

земле. Когда стало снова темно, сразу же там, впереди, куда шел отряд, возникли две пульсирующие точки вспыхивающего газа от стрельбы из автоматов. Одновременно Зоя услышала негромкий, но отчетливо слышный голос Крайнева: «За мной!» Он был уже значительно левее. Провожавшие отряд разведчики залегли среди кустов и ввязались в перестрелку, давая Крайневу возможность увести отряд подальше от этого места. В первые месяцы войны немцы боялись нашего русского леса: они избегали заходить в лес далеко от опушки, тем более ночью. Как только отряд выскочил из зоны, доступной для света ракет, и углубился, немцы не стали его преследовать. Вскоре Крайнов уже смог собрать всех своих людей и устроил переключку: все десять человек отозвались на его голос. Зоя удивилась, что отделались так легко.

— Раненые есть? — спросил Крайнов.

— Есть! -сказал кто-то застенчиво.

— Кто ранен?

— Ремесленник Смирнов! — отозвался сам раненый тем же застенчивым голосом.

Крайнов спокойно распорядился: «Волошина, займись!»- как будто отряд уже много недель ходил по лесам и все давно уже привыкли и к убитым и к раненым.

Зоя нажала на кнопку электрического фонарика — сверкнули металлические пуговицы на шинели ремесленника. В первый момент показалось, что Смирнов тяжело ранен: все лицо его было в крови. Но это было только первым впечатлением, — он просто измазал себе лицо, потому что старался унять кровь, зализывал рану, а пробило ему навывлет пульей только мякоть ладони.

Едва Вера Волошина закончила перевязку, в луч света от фонарика протянулась еще одна окровавленная рука. Здесь была уже задета кость.

Крайнов упрекнул раненого разведчика:

— Что ж вы молчали, товарищ? У нас же есть еще девушки-санитарки — сразу обоих и перевязали бы.

Потом, почти беззвучно, не шурша, а лишь приминая опавшую листву, подошел второй разведчик и попросил помочь его товарищу, третьему разведчику, тяжело раненному в бедро.

Клубков предложил:

— Давайте я отнесу разведчика обратно в батальон.

Зоя подумала о нем. «Такой большой, а трус! Хочет воспользоваться предлогом, лишь бы вернуться». Но тотчас же ей стало стыдно за свой скоропалительный вывод.

Клубков сказал:

— Я помогу, но только с условием, если вы всё здесь меня подождете — я быстро! Я только перенесу вброд через речку, а там уж пускай они вызывают своих санитаров на помощь.

— Ждите нас здесь, — сказал Крайнов,- мы с Клубковым скоро вернемся. А ты,

ремесленник, уже отвоевался — идем с нами, разведчики доведут и тебя до батальона. — Ты что, с ума сошел?! — возмутился Смирнов, куда только девался его застенчивый голос. — Сам ты отвоевался! Для того чтобы бросить гранату и колоть ножом, хватит и одной руки. Мины тоже могу ставить.

Это произнес запальчиво почти мальчик, самый юный из всех комсомольцев в отряде, ровесник Зои и даже на два месяца младше, чем она. Ни в Кунцеве, ни во время учебного рейса Зоя до сих пор не слыхала, чтобы Смирнов произнес хоть одно слово, он только ласково посматривал на всех и то и дело застенчиво улыбался.

Крайнов простил ему его внезапную вспышку, он только спросил Волошину:

— Ты как считаешь?

— Рана легкая! — ответила за Волошину Зоя, пока та раздумывала.

Зое стало жаль ремесленника, она хорошо его понимала и сама на его месте ни за что бы не вернулась в Кунцево.

— Тогда ждите нас здесь! — сказал Крайнов, уходя с Клубковым, чтобы помочь переправить через рубеж тяжело раненного разведчика.

Так начался этот поход.

4

Постепенно продвигаясь лесом к району указанных Прогисом деревень, Крайнов каждый день менял место стоянок. Он выбирал небольшие овражки в стороне от дорог, где погуще поднимался молодой ельник или озимые дубки, почти до самой весны не сбрасывающие ржавую осеннюю листву. Выставив сторожевое охранение, отсюда он отправлял комсомольцев в разведку, как правило по двое. Обычно такой овражек служил и местом сбора всех двоек на ночлег.

В разведке, отыскивая расположение немецкого штаба, больше всего обращали внимание на то, нет ли усиленного движения по дорогам мотоциклистов и автомашин и куда сходятся провода полевых телефонов.

Немецкие провода отыскивать было легко — они сами бросались в глаза яркой обмоткой. Первый раз в жизни Зоя увидела желтые, синие, голубые, зеленые и красные провода. Особенно много было с изоляцией кораллового цвета. Отныне, где бы Зоя ни натыкалась в лесу на проводку, она тотчас же обрезала провод кусачками и, быстро намотав на vareжку несколько десятков метров, относила вырезку и бросала подальше от места повреждения, чтобы немцам труднее было восстановить связь.

После первой ночевки, когда всем отрядом меняли место стоянки, Крайнов послал Зою идти в передовом дозоре. Самое трудное было для Зои заставить себя идти медленно, не отрываться от отряда. Ночью Зоя продрогла. Особенно сильно мерзли ноги в сапогах. Девушки старались втроем — Вера Волошина, Клава Милорадова и Зоя —

покрепче прижаться друг к другу, лежа на еловом лапнике, настеленном поверх голой земли. Это помогало, но ненадолго — приходилось все время менять положение, отогреть то один бок, то другой и по очереди забираться в сердечку между подругами. Но хуже всего приходилось ногам Зои.

Клубков несколько раз напоминал ей их разговор:

— Говорил ведь тебе: бери валенки, упрямое создание!

Крайнов посоветовал Зое стаскивать на ночь сапоги до половины голенища, чтобы не было помехи для кровообращения. Это помогало, но все-таки спать было очень холодно.

Зоя шла и напряженно вглядывалась вперед между деревьями. Ее не покидало сознание того, что судьба всего отряда сейчас зависит от того, насколько она будет зоркой и бдительной. Но, как бы пристально ни было направлено ее внимание на то, чтобы не прозевать врага, она не могла не замечать того, что творилось вокруг нее в самой природе.

Зою удивило, что так быстро, прямо-таки у нее на глазах, повсюду нарастает иней, — должно быть, оттого, что после морозной ночи сразу же потеплело. Димочка Кутырин, вероятно, сказал бы, что иней образуется оттого, что влага, находящаяся в потеплевшем воздухе, конденсируется, примерзает к предметам, сохраняющим более низкую температуру. «Где вы сейчас, друзья мои? Вот бы нам всем вместе быть в одном отряде!» — подумала Зоя. А иней все нарастал, как будто у каждого предмета выростали седые реснички: промороженная насквозь мелкая лечебная ромашка (последние осенние цветы, которые Зоя видела живыми в природе) покрылась серебряным инеем, высокие былки иван-чая с ватным ворсом вокруг семенных коробочек тоже опущены инеем, межевой столб на просеке, каждый ствол дерева, каждая веточка, иголочка хвои и даже пуговицы на шинели раненого ремесленника — все в инее. Но эта морозная седина не старила, а молодила природу, и хотя не было солнца и небо закрывал глухой пасмурный полог, свежая новизна инея вносила в пейзаж ощущение торжественной праздничности. Вот бы увидел Шура!

Зоя подумала, что надо защищать от врага и эту зимнюю сказку русского леса! Она никогда в жизни еще не видела такого нарядного леса.

Но довольно любоваться, довольно! Ведь враг где-то совсем недалеко. Зорче гляди вперед, Зоя!

Шли уже часа полтора. Прошли стороной, обогнули деревню.

Неожиданно Зоя подняла руку и остановилась. Этот условный сигнал всем был понятен: «Стойте, внимание!» Впереди на земле лежал человек.

Давно уже, должно быть, заснул здесь вечным сном наш советский товарищ, лейтенант Красной Армии. Он истек кровью от пулевой раны — шинель спереди пробита, крови ушло так много, что он теперь примерз к земле; с трудом отодрали шинель от земли,

чтобы перенести его подальше с тропы в густой ельник. Брови, ресницы, пушок на щеках и над верхней губой — все обросло густым инеем, и от этого лицо лейтенанта казалось мраморным.

Почему он один? Может быть, смертельно раненный в ночном неравном бою, был потерян своими бойцами? Или выходил, раненый, из окружения?

Из кармана его гимнастерки Крайнов вынул записку и вслух прочитал: «Товарищи, в случае моей смерти, прошу считать меня коммунистом. Иван Кораблев».

— Товарищ командир!- обратилась Зоя к Крайневу.- Разрешите, я схожу в Скучерово за лопатой. Мы недалеко отошли от деревни. Это можно совместить с разведкой.

— Зовите меня просто Борис, — сказал Крайнов, — я такой же комсомолец, как каждый из вас. А за лопатой идти не разрешаю: сначала принести лопату, потом отнести... Что это такое? Ты пойдешь еще попроси лопату у немцев! — Помолчав, он взглянул на мраморное лицо лейтенанта и добавил: — А товарищ на нас не обидится, если мы выроем ему могилу ножами и не очень глубокую. Земля еще только чуть промерзла. Так и сделали.

Мысль, что на открытое человеческое лицо хотя бы уже и бездыханное, сейчас начнут сыпать землю, была для Зои нестерпима. Она достала из вещевого мешка чистый носовой платок, проглаженный матерью на дорогу, и прикрыла им лицо лейтенанта. Потеплело. Часа через два начало проглядывать даже солнце. От инея не осталось и следа. Достаточно было слегка нажать ногой, и ледок над ложем небольшого лесного ручейка ломался, как тонкое стекло. Вот здесь, поближе к воде, в лощине, Крайнов указал место для очередной стоянки и опять отправил несколько пар в разведку. Сдав на хранение Крайнову личное оружие и вещевые мешки, Вера Волошина и Зоя отправились в деревню Ястребово, туда, где маленькая речонка Копанка впадает в Тарусу. Лес в этом месте подходил почти к самой деревне — вести наблюдение очень удобно. Прежде чем войти в деревню, Зоя и Вера решили как следует осмотреться: где больше езды и пешеходов, с какого края лучше всего войти в деревню, чтобы не вызвать подозрения.

Они выбрали кусты можжевельника на берегу Копанки и залегли. Войти в деревню отсюда нельзя — быстрая речонка еще не замерзла, но зато деревня с этого берега просматривалась превосходно.

Сразу же за Копаной шла луговинка, как волдырями покрытая кочками; дальше вытянулась узкая полоса огородов, и тут же, за огородами, стояли сараи колхозников и кое-где между ними маленькие, почерневшие срубленные бани. От каждой бани к речке спускалась, как узенький ремешок, коричневая тростинка.

Девушки лежали так тихо, что синицы, прилетевшие на рябину, перепархивали с ветки на ветку почти у них над головой, не обращая на Веру и Зою никакого внимания. Вот прямо перед девушками упала на устилавшие землю желтые листья гроздочка ягод,

потемневшая от мороза. Зоя, не сводя глаз с деревни, вслепую пошарила перед собой, нашла и, оборвав несколько размякших, обмороженных ягод, взяла их в рот. Вера толкнула ее локтем и предостерегающе зашептала:

— Плюнь сейчас же! Поперхнешься и начнешь кашлять.

Но тут же Вера прижала ладонь к своим губам, заставила себя замолчать.

Ржаво заскрипела дверь крайней баньки, и на пороге ее появилась девушка-колхозница. Она тащила к речке полоскать цветастые полосатые половики. Ремешок от бани спускался как раз сюда, к рябине. Здесь, под беретом, прилажена была досточка, и на ней лежал маленький обмылок, забытый, может быть, этой же девушкой.

— Сейчас она нас увидит! — тревожно шепнула Вера и приготовилась уже ползти назад.

— Давай попробуем заговорить с ней, — сказала Зоя на ухо Вере. — Смотри, какая она симпатичная! А в случае чего, ведь нас же охраняет речка.

Но в это время в деревне начали раздаваться громкие голоса немцев, какие-то их крики. Девушка оглянулась и остановилась на тропинке. В промежутках между сараями стало видно, как подходят к избам немецкие солдаты и стучат в окна, вызывают хозяев; иногда можно было слышать даже отдельные слова:

«Hinausgehen, schnell! Hinausgehen, dali!», «Schnell, schnell!! Dalli, dalli!», «Hinausgehen! Alle hinausgehen!»

Девушка сбросила с плеча сваи половики на тропинку, пригнулась, крадучись пробралась к бане и спряталась в ней.

— Готовится какой-то спектакль, — сказала Вера. — Митинг, что ли? Смотри, с того края легковая подъезжает.

— Жаль, что мы не успели войти в деревню. Давай все-таки войдем! — предложила Зоя.

— В суматохе на нас никто не обратит даже внимания.

— Что ты! Разве можно? Отсюда и так хорошо видно.

Между тем на огородах и на луговинке, куда сгоняли немцы колхозников, собралось человек уже тридцать, главным образом женщин, подростков и стариков. Двое ребят побежали было в сторону и спрятались за сараем, но солдат-автоматчик догнал их, схватил обоих за шиворот, одному поддал коленом и заставил вернуться. На повороте сверкнуло на солнце ветровое стекло автомашины. Водитель затормозил. Из машины вышел высокий худощавый офицер в черном мундире. Хорошо были видны серебряные нашивки на воротнике. Он поискал глазами место, где бы стать повыше. Из ближайшей избы солдат тащил уже для него табуретку. Офицер забрался на нее.

— Мы очень удачно купили с тобой билеты, — пошутила Волошина. — Сейчас мы всю ихнюю программу узнаем.

Зоя напряженно следила за всем, что происходит, она не упустила ни одной мелочи, — для нее, впервые видевшей фашистов, даже самый вид немецких солдат, так свободно

расхаживающих, распоряжающихся в нашей русской деревне, был нестерпимо дик. Офицер, стоявший на табуретке, произнес несколько фраз и вынул из кармана мундира бумажку; когда он ее развернул, она оказалась очень большой; поднеся ее близко к глазам, он долго читал по-русски; иногда прерывал чтение и голосом более громким, подняв голову, спрашивал у колхозников:

— Понятно?

Смысл того, что он зачитал, сводился к следующему:

«В России теперь будет новый порядок. Колхозы отменяются. Вся земля отныне принадлежит германскому государству, но обрабатывать землю должны колхозники. За это немецкое командование будет выдавать колхозникам справедливую заработную плату. Тех, кто будет усердно работать, немецкое командование вознаградит, а тех, кто будет непослушным, немецкое командование беспощадно покарает. Сейчас вы увидите, что ожидает каждого из вас, если вы не подчинитесь новым порядкам, которые отныне должны быть для вас железным законом».

— Подожди, подожди, что это такое? — опросила Зоя и, забыв об опасности, начала было приподниматься, схватив Веру Волошину за руку выше локтя.

Но Вера, высвободив руку, успела надавить Зое на плечо и заставила ее лечь.

Пока офицер зачитывал свою бумагу, как раз против той бани, где спряталась девушка, построился взвод солдат. К бане подвели, поддерживая под руки, избитого, истерзанного человека с окровавленным лицом. По костюму и по всему внешнему облику он походил на простого рабочего.

«Побежать — сказать Крайнову? — мелькнуло в голове у Зои. — Поздно! Но как же можно спасти все-таки этого человека?»

Зоя предложила:

— Вера, давай закричим вдвоем что есть силы! Солдаты погонятся за нами, а он убежит.

— Ты с ума сошла! Погубим весь отряд. Все равно этот человек не может уже бежать — они его замучили. Да и руки у него связаны.

Раздался залп, злодейски четкий, как один выстрел. Вера закрыла лицо ладонями и уткнулась головой в землю. А Зоя, наоборот, широко раскрыла глаза и проследила все до последнего мгновения: расстрелянный, как бы вытирая бревна сруба спиной, опустился, сел на свои пятки, свесил голову на грудь и остался в таком положении. Солдат, стоявший в шеренге крайним слева, подошел к нему сбоку и ногой, обутой в сапог, пнул расстрелянного в плечо — тот завалился набок.

И вдруг дверь бани раскрылась все с тем же ржавым скрипом настезь, и та самая девушка, которая несла к речке полоскать половики, выскочила на порог с душераздирающим криком, уже почти не похожим на человеческий голос: «Спасите, родненькие мои, спасите!»- и побежала к речке, то и дело как бы спотыкаясь на одну

ногу, должно быть, задетую теми же пулями, которые подкосили расстрелянного. Несколько солдат, без чьей-либо команды, а просто так, подстегиваемые животным азартом добить убегающую от охотника дичь, вскинули винтовки к плечу и срезали девушку одновременно несколькими пулями: она распласталась на тропинке возле своих полосатых половиков.

Зоя рыдала и от чувства собственного бессилия кусала пальцы. Она судорожно, с трудом втягивала в себя воздух и тотчас же с шумом, толчками его выдыхала, словно он был горячий и обжигал легкие. Плакала рядом с нею и Вера Волошина. Немного успокоившись, Вера спросила:

— Зоя, сколько тебе лет?

— Ну при чем здесь «сколько тебе лет»? Ну при чем? Что ты меня опрашиваешь — не понимаю?!

— А мне двадцать два года, — сказала Вера.- А училась я тоже в Москве. Мне кажется, что сегодня я тебя полюбила, Зоя, вот мне и хочется знать о тебе побольше...

Борис Крайнов не остался равнодушным к настроению Зои. Он решил, что она не подходит для его отряда, под любым предлогом надо отправить ее обратно в Кунцево, к Прогису.

Вера Волошина — это другое дело: все выплакала вместе со слезами и теперь опять чиста, как стеклышко, готова для любой работы. А Космодемьянская задумалась уже после первого же увиденного ею трупа, после захоронения лейтенанта, а теперь увидела зверства фашистов и ведет себя так, будто это именно она виновата в расстреле рабочего.

Не мог Крайнов не заметить и того, что Зоя каждую ночь поднимается раза два, не меньше, и согревает ноги «бегом на месте», пока все спят, — она расплачивалась за то, что выбрала себе сапоги, а не валенки.

Когда Крайнов упрекнул ее, она сказала:

— Я ни одной минуты не жалею, что так сделала. И вообще не понимаю, к чему весь этот разговор, я, кажется, ни разу еще никому не пожаловалась!

Положение отряда между тем осложнилось: неожиданно заболел заместитель Крайнова Прахов,- его все в отряде начали звать Мустафой, потому что он очень был похож на героя первого звукового советского фильма «Путевка в жизнь», на татарина Мустафу. По-видимому, он простыл во время ночевки на голой земле. Он сильно страдал, изо всех сил стараясь подавить свой кашель, но кашель одолевал его, и это могло подвести отряд.

Ремесленник Смирнов, по-видимому, тоже бесповоротно выходил из строя. Он виновато смотрел теперь на всех своими детскими темными глазами в пушистых длинных ресницах; краснота у него поползла уже выше раненой кисти, по направлению хода сосудов — вверх, к локтю. Рано или поздно, завтра или послезавтра,

Мустафу и ремесленника все равно придется переводить обратно через рубеж — им одним проделать этот путь уже не под силу. Кого же выделить в провожатые? Кто их поведет? Дорог каждый человек. Для поисков штаба немецкой дивизии, для уничтожения его и устройства большого пожара в отряде останется только семь человек, после того как уйдут больные и провожатые с ними.

Крайнов решил, что лучшая кандидатура — Космодемьянская. Так коренным образом решается весь узел вопросов: все беды и с настроением Зои и с ее сапогами. Ударит мороз — без валенок она не боец. А перевести с опасностью для своей жизни, больных товарищей через фронт и спасти их — разве это не почетная работа? Но когда Крайнов сказал об этом Зое, та наотрез отказалась уходить из леса. Она сказала:

— Я даже не взорвала ни одной машины, не уничтожила ни одного фашиста. Я умру от одного презрения к себе, если сейчас уйду обратно в Кунцево!

— А если я прикажу тебе? — возвысил Крайнов голос. — Тебе известно, Космодемьянская, что командир отряда имеет право расстрелять, если боец из его отряда не подчиняется дисциплине, не выполняет приказа командира?

— Известно! — Зоя пристально посмотрела Крайнову в глаза.

Он выдержал взгляд, и вот они стояли один против другого и продолжали смотреть друг другу в глаза. У обоих они были голубовато-серые. И у Крайнова было не менее волевое лицо, чем у Зои, и даже нос у него был с орлиной горбинкой, и пристальный, как бы пронзающий зрачок, но вот он не выдержал и отвернулся от этой странной, как он подумал, упрямой девчонки, с которой предстоит, должно быть, не мало еще хлопот впереди.

— Да, мне известно, что командир отряда имеет право расстрелять! — проговорила Зоя. — Но я, Борис, уже успела тебя узнать за эти дни и поняла, что ты умный, ты этого не сделаешь, ты не обидишь меня и не заставишь уйти из леса!

Крайнов решил попробовать другое средство. Он разрешил пойти Зое на выполнение боевого задания с оружием в руках. Может быть, это принесет ей удовлетворение, даст разрядку и она станет сговорчивой.

Накануне Клубков доложил, что он наблюдал большое движение машин по мостику через Тарусу, между деревнями Строганка и Ширяйково. Там даже два мостика, а не один: второй — через речонку Лохню, недалеко от Ширяйкова. Вся местность болотистая; если уничтожить мосты, объезд для машин будет невозможен — трясина промерзла еще недостаточно.

Вот эту диверсию и должна была выполнить Зоя вместе с Клубковым.

Остальные комсомольцы отряда должны продолжать разведку, подобравшись поближе к району Петрищева и Грибцова, искать там признаки штаба дивизии. Сбор всего отряда на ночевку Крайнов назначил в овраге, заросшем орешником, черемухой и бересклетом, в двух километрах от деревни Усатки. Отсюда, кстати, легко было

наладить наблюдение за шоссе на дороге Верея — Дорохово, лес подходил здесь вплотную к самой обочине шоссе.

Крайнов надеялся, что у Зои появится чувство гордости после того, как она вместе с Клубковым ликвидирует мосты. Тогда легче будет заставить ее проводить в Кунцево. Мустафу и ремесленника, ведь тогда уже ей будет чем похвалиться Прогису.

Когда Крайнов объяснял Зое и Клубкову задание, Зоя все время улыбалась и старалась перехватить его взгляд, чтобы без слов передать чувство своей благодарности за то, что он оказался выше мелочного самолюбия и поручает ей такое серьезное дело. Но Крайнов ни разу на нее не взглянул, выдержал спокойный, почти суровый тон командира и обращался почти к одному только Клубкову.

Получив от него две мины нажимного действия, Зоя поняла, что сегодня и наган останется при ней. Сам же Крайнов решил обойти вместе с Клавой Милорадовой все опушки вокруг Петрищева и вернуться к ночлегу, в овраг, уже с противоположной стороны — по кругу весь этот маршрут составлял не менее восемнадцати километров. Крайнов склонялся к мысли, что немецкий штаб скорее расположится в Петрищеве, нежели в Грибцове. Грибцово уж очень приметное место: стоит на самом шоссе Верея — Дорохово, немцы побоялись бы здесь нашего удара с воздуха.

В этом деле оказалось самым трудным не мины заложить под оба моста, а тягостное ожидание, неподвижная лежка на морозе под кустами, чтобы выждать момент, когда на дороге нет ни души и можно приступить к работе. Хорошо, что пошел снег: даль замутило, забелило, как воду молоком, видимость сразу стала хуже, а значит, и легче укрываться от недоброго глаза.

Как только Клубков и Зоя отошли от места ночевки, как только отпустил их Борис Крайнов, сразу же начали падать отдельные снежинки, такие редкие, что Зое хотелось каждую из них назвать по имени, еще все их можно было пересчитать. Вот упал ледяной кристаллик на коричневый рукав ее пальто — идеальная звездочка с ресничками-лучиками, старательно вырисованная, как в наглядном учебном пособии. Зоядохнула на кристаллик, и он исчез, испарился вместе с ее дыханием. Потом густо повалили большие хлопья. Они падали в совершенном безветрии. Было так тихо, — на передовой ни единого звука, — что если не двигаться с места и прислушаться, то услышишь, как падает снег, услышишь шепот снежинок. И вдруг снег пошел так обильно, словно где-то сверху открыли невидимую заслонку. Все побелело. Вчера еще земля была почти голая, а сегодня навалило за каких-нибудь два часа столько снега, что партизаны уже повсюду оставляли в лесу за собою следы.

Выходя на проселок, Клубков и Зоя пятились задом — след в след, чтобы сбить с толку тех, кто вздумал бы поинтересоваться их маршрутом: получалась такая картина, будто не два партизана вышли из леса, а наоборот — с проселка ушел в лес кто-то один в огромных валенках. Клубков заминал своей лапой маленький отпечаток от Зоино

сапога.

Снег повалил еще гуще. «Это хорошо, — подумала Зоя, — заметет все следы». Но из осторожности они все-таки еще два раза пятились задом, переходя проселок.

Зою начинал раздражать Клубков: он опять бросал издали себе в рот какие-то крошки и жевал, при этом он громко сопел.

— Не сопи, пожалуйста, — попросила Зоя, — иемцы услышат.

— Спим на земле — остыл, что ж тут удивительного? Мустафа вовсе вышел из строя.

Ну, подожди! — остановил сам себя Клубков. — Слышишь, грузовая буксует?

Зоя освободила одно ухо, сдвинув подшлемник, прислушалась; Клубков вовсе снял на минуту свою ушанку. В самом деле, со стороны Строганки доносился характерный звук мотора, впуская работающего на больших оборотах.

Зоя пошла на этот звук напрямиком, пробираясь между кустами можжевельника.

Клубков — за нею. Вскоре уже стала слышна немецкая речь.

— Жаль, нет словаря! — сказал Клубков.

— Тсс!.. — Зоя сдернула варежку и погрозила Клубкову пальцем.

Через минуту лицо ее озарилось радостью. Она сделала вид, что хлопает в ладоши.

Подождав, пока Клубков подойдет к ней ближе, она сказала шепотом:

— Мост провалился.

— А ты откуда знаешь?

— Подожди, не мешай мне, — я все понимаю, о чем они говорят.

Но Клубков продолжал ей мешать, он сказал:

— Ну что ж, будем считать, что этот мост мы с тобой уже уничтожили, пошли теперь к Ширяйкову.

Зоя замотала головой и зажала Клубкову рот варежкой.

— Прикрывай меня — я поползу, — сказала она тихо. — Когда я подниму руку, это значит, я, вижу немцев. Тогда остановись и дальше не ходи. Следи, чтобы кто-нибудь не подошел сбоку — справа или слева. Только смотри не засни.

Зоя прошла вперед метров десять, потом опустилась на колени, прислушалась к голосам немцев, подвернула полы пальто, легла в снег и поползла. Пушистый свежий снег легко уступал ей дорогу, и она проминала в его чистой пелене след до самой земли. По этой темной борозде и шел за нею Клубков, пока она не подняла руку. Он вытащил из-за пазухи наган и поставил курок на боевой взвод. Кусты можжевельника, стволы сосен и суетливое мелькание снежных хлопьев мешали ему что-либо видеть впереди. Скоро снег так искусно замаскировал даже темное пальто Зои, что можно было бы пройти в десяти шагах и не заметить, где здесь лежит человек.

Да, мостик действительно провалился. Грузовая машина глубоко увязла передними колесами, и даже часть капота скрылась под теми досками настила, которые еще уцелели. Водитель прекратил какие-либо попытки выбраться с буксующей машиной

задним ходом. Она тяжело была загружена ящиками с патронами. Следом за нею стояли две другие машины с навьюченными на них огромными ворохами сена. Спуск к мостику пролегал в узкой ложбине, из глинистых откосов которой далеко выпирали, как рыбы кости, корни сосен, росших по краям обрывов. На них сейчас повисли космы сена, будто клочья шерсти, оставленные протиснувшимся здесь каким-то большущим зверем. Развернуться в ложбине и ехать обратно было совершенно невозможно. А тут еще сверху слышались звуки моторов новых машин.

— Эй, Ганс! -крикнул один из немцев. — Беги наверх, предупреди, чтоб не спускались. — Черт с ними! — ответил Ганс. — Чем больше будет людей, тем скорее вытащим машину. Все равно придется пригонять сюда русских свиней — надо чинить мост. Зоя не поняла всего только несколько слов, но и без них смысл происходящего был совершенно ясен.

Через несколько минут в узкое горлышко спуска вклинились еще три машины, тоже груженные сеном.

Деревья безмолвствовали от корней до самых вершин, но все-таки и без ветра можно было заметить движение воздуха: хлопья снега падали наискось — слева направо. Значит, поджигать надо с хвостовой машины, тогда пламя перекинется с одной на другую и вместе с передней машиной сгорят и остатки моста.

Но добросить бутылку лежа не хватит сил, а подняться и подойти невозможно — немцы увидят. Вопрос не в одной только слепой смелости, дело в разумном расчете. Рано еще рисковать собой — еще не уничтожен мост возле Ширяйкова, завтра и послезавтра тоже надо будет жечь, взрывать и уничтожать, пока все фашисты до единого не будут истреблены на нашей земле. Нет, нельзя рисковать собой безрассудно. А машины отсюда теперь никуда до вечера не уйдут — пока мостик не восстановят, они здесь как в ловушке. «Это твои машины, Зоя, — сказала она самой себе. — Когда стемнеет, ты их сожжешь! А пока займись Ширяйковым». И Зоя опять стала пропахивать в снегу темную борозду, но теперь уже в обратном направлении.

Клубков одобрил ее план.

Под Ширяйковым очень долго пришлось ждать — мешали пешеходы. Сильно мерзли ноги в сапогах, и раздражал Клубков своим каким-то тюленьим спокойствием, вернее, равнодушием ко всему. Зоя хотела процитировать ему Чехова: «Равнодушие — это паралич души, преждевременная смерть», но не могла вспомнить, из какого это рассказа, и воздержалась.

Зою вообще начинало тяготить, что она так мало знает своих новых товарищей и что нет никакой возможности ощущать свой партизанский отряд как единое целое. Все расходятся на задания только парами, а собираются вместе лишь около котелка с кипятком, на ночлег, измотанные, промерзшие, со слипающимися от усталости глазами. Вот если бы ей позволили организовать отряд из школьных товарищей!

— Перестань чавкать, Клубков, брось жевать хоть на минуту, — сказала Зоя, не выдержав. — Лучше расскажи что-нибудь о себе. Где ты учился, в какой школе? Они лежали в зарослях ольшаника, на берегу речонки Лохни, метрах в полутора от моста; под самым боком у них что-то бормотала в размытых корневищах озорная, не поддающаяся морозу струйка воды.

Вместо ответа Клубков грубовато толкнул Зою в плечо и сказал:

— Иди действуй! Никого на дороге нету.

Но когда Зоя поднялась во весь рост, она сразу же увидела двух немецких связистов, проверяющих проводку, подвешенную на шестах по болотистому участку совсем недалеко от моста. Пришлось снова лечь и терпеливо ждать.

— Ты мне так ничего и не сказал о себе, — напомнила Клубкову Зоя. — Ты в Москве учился?

— А где же! Я уже работал, учиться кончил еще в прошлом году. Я работал в тридцать третьем отделении связи сортировщиком почты.

— А в каком классе тебя приняли в комсомол?

— Комсомольская работа у нас была слабо поставлена. Я уже в армии подал в комсомол, жаль только заявление мое еще не успели рассмотреть.

— Значит, ты еще не комсомолец? — спросила Зоя не без удивления.

— Нет!

Зоя задумалась. Она вспомнила Ярослава.

— Ну, ничего, — сказала она. — У нас в школе хороший был товарищ, очень хороший, а в комсомол не сумел вовремя попасть. Ты не унывай, Клубков. Выполним задание, вернемся в Кунцево, тогда и тебя проведем в комсомол, если, конечно, ты оправдаешь доверие в этом походе.

Клубков молчал.

— Что ж ты все молчишь? — спросила Зоя. — Расскажи о себе что-нибудь. Ведь нам же предстоит воевать вместе, надо лучше знать друг друга.

— А что тебя интересует, например?

— Как ты попал в партизаны?

— Очень просто! В армию я пошел добровольно. Потом стал проситься в истребители танков. Я очень верю в бутылку.

Зоя рассмеялась, она не сразу поняла, что речь идет о зажигательной жидкости.

— В истребительном отряде начали отбирать молодежь, кто покрепче, для партизанской работы. Я стал проситься, чтоб и меня взяли.

— А зачем ты пошел в партизаны?

— Зачем, зачем, — передразнил ее Клубков. — А ты зачем?

Он поднялся, осмотрелся и сказал:

— Ну, действуй, никого нет, не бойся! А то мы упустим машины около Строганки.

Действуй, в случае чего я тебе свистну.

В самом деле, на дороге — в обе стороны от моста — не видно было ни души.

Зоя без труда добралась до моста и заложила мину под самую крайнюю доску, под ту, которая лежит уже почти вся на земле. Зоя немного выгребла из-под нее земли, с таким расчетом, чтобы между доской и миной был просвет сантиметра в два. Пешеход пройдет безопасно, а под тяжестью машины доска прогнется, и мина должна обязательно сработать.

Возвращаясь к ожидавшему ее Клубкову, Зоя по пути вырезала метров двадцать синего и красного провода, смотала его на кисть руки и потом бросила в речку, как раз туда, где бормотала незамерзающая струйка.

Клубков хотел сразу же идти поджигать машины, но Зоя снова легла в засаду и сказала с возмущением:

— Во-первых, еще светло. А потом, я тебя все-таки не понимаю. Как ты можешь ко всему относиться равнодушно? Неужели тебя не интересует результат? А может быть, я не сумела подложить мину? И опять ты жуешь? Не чавкай — немцы услышат.

— Тебе хорошо — ты маленькая, — сказал Клубков, опять растягиваясь на снегу рядом с Зоей. — А я все время голоден. При моем росте мне официально, по уставу, полагается двойной паек.

Зоя вскрикнула:

— Ой, ребята идут! Что же делать?

— А вот это и будет проверка твоего умения, — спокойно сказал Клубков, положив свою тяжелую руку на плечо Зои, заметив, что она хочет встать.

К мосту приближались трое ребят: мальчик лет шести-семи шел впереди, за ним две девочки постарше. Зоя прекрасно знала, что мина сработает лишь под большой тяжестью, эти ребята даже все вместе не могут заставить ее взорваться. Но как ей хотелось вскочить и закричать во все горло: «Назад! Остановитесь! Мост заминирован!» Только огромным усилием воли заставила она себя лежать и не двигаться с места.

Вот дети подходят к мосту ближе, ближе... Вот мальчик поднял свою ножку, сейчас он наступит на роковую доску моста... Зоя зажмурилась, опустила голову и прижалась лбом к vareжке... Тотчас же он стал мокрым от растаявших снежинок. Зоя рывком вскинула голову. Прошли все трое!

Зоя радостно взглянула на Клубкова, а он хоть бы что! Лежит и опять жует. Но вот он оживился и часто заморгал белесыми ресницами, как бы внюхиваясь в воздух. Со стороны Шириякова раза два стрельнула выхлопная труба грузовика, и вот уже ворчит и сам мотор. Машину мотало на промерзших колдобинах.

— Сейчас ей будет капут! — сказал Клубков. — Хорошо, если бы с хлебом или с сухарями, да еще с колбасой бы, с мясом и сахаром! Жрать хочется до потери

сознания! Мы бы с тобой, Космодемьянская, весь отряд осчастливили бы. Продовольственная проблема была бы решена до самого конца всего похода. Зоя его не слушала, задерживая дыхание, она следила за тем, как водитель на выбоине, перед тем как въехать на мост, притормозил машину.

— Раз, два... — начала считать Зоя вслух и, как только передние колеса коснулись доски, почти крикнула: — Три!

Но что это? Машина, как во сне, невредимо прокатилась через весь мост, оставляя на досках черные колеи от колес.

Клубков посмотрел на Зою с презрением и сказал:

— Раз, два, три, четыре, пять — поехал зайчик погулять! За вами, гражданка Космодемьянская, килограмм хлеба и банка сгущенного молока! Нет, я верю больше в бутылку. Ступай, не жалей, израсходуй одну бутылку. Вода близко, а мост все равно сгорит.

— Сам ты похож на бутылку! — наконец не выдержала Зоя. — Такой же длинный, как бутылка, и голова маленькая, как пробка! Неужели ты не понимаешь, что жидкость надо беречь для сена?

— Хватит и на сено!

— Помолчи, — попросила Зоя. — Видишь, еще одна машина?

— Так это же легковая! — сказал Клубков с досадой. — Чего ты от нее хочешь? Грузовик не дождал, а в этой весу всего килограммов триста.

— Нас Прогис учил, — оказала Зоя, — где один человек прошел и не подорвался, это еще не значит, что здесь нет мины. Один человек сдвинул механизм на какой-то волосок, другой — еще, а третий может уже и взлететь на воздух.

Ох, как Зое хотелось, чтобы легковая дождала! Может быть, в ней едет как раз тот мерзавец, который вчера в Ястребове расстрелял рабочего? Вот машина сбавила ход, задрав нос, вошла на мост с противоположного конца от мины... «Раз, два, три!» — и мгновенно взметнулся вверх черный султан взрыва, пронизанный ядовитым, ослепительным пламенем.

Машины около Строганки тоже не ушли от расплаты. Зою поразила беспечность немцев: они даже не выставили возле машин сторожевого охранения — здесь у них не было ни одного человека. Все они грелись около огромного костра, разложенного в стороне от дороги, подальше от сена, в то время как согнанные сюда колхозники валили деревья и восстанавливали мост. Еще издали Зоя и Клубков услышали вязкое тьяпанье топоров по сырому дереву.

Костер ослеплял немцев, и Зое не стоило никакого труда подойти к хвостовой машине. Она даже хотела бросить гранату в костер и удержала себя от этого только потому, что боялась, как бы осколки не задели кого-нибудь из колхозников.

Зоя подбросила бутылку вверх с таким расчетом, чтобы она разбилась на крыше

кабины водителя. Жидкость воспламенилась мгновенно и, стекая по стеклам, по дверцам кабины создавала впечатление накинутого на машину, разворачивающегося огненного плаща. Одновременно пламя от былинки к былинке рванулось вверх, и вот уже пылала вся машина со всем своим грузом, пушистым и легким, как облако. Вот уже занялась огнем вторая машина. Весь лес наполнился таким шипением и треском, будто горело масло на чудовищной по размерам сковородке. Зою обдало жаром и ослепило — она не догадалась вовремя заслониться рукой, зажмуриться или отвернуться.

Она бежала теперь в ту сторону, где ее ждал Клубков, но ничего перед собой не видела, и ей казалось, что все горит и на ней самой. Она споткнулась о корень сосны, упала и больно ударилась плечом о комель. На ее счастье, немцы тоже были от огромного пламени как слепые и не сразу ее увидели. Когда один начал стрелять из автомата, она уже была на ногах.

Среди многоголосого крика немцев одна из фраз была самая сейчас важная для Зои: — *Zieman, nicht schiessen! Wir schnappen schon das Madchen ohne Schiesserei!* (*Зиман, не стреляй, мы девчонку схватим живую!)

Зоя оглянулась. Немец ее настигал. На фоне пламени лица его нельзя было разобрать, выделялась черным силуэтом одна только фигура. Зоя выхватила из-за пазухи наган. Но в это время прикрывавший ее Клубков выступил на шаг из-за широкой сосны и застрелял немца в упор. Потом он хотел было сорвать со своего пояса гранату, но она не давалась ему, что-то у него зацепилось, заело. Тогда он с неожиданной для его обычного равнодушия и вялости легкостью стряхнул, сбросил со своих ног вместе с портянками огромные валенки и, подхватив каждый из них под мышку, что есть духу, босой, кинулся в глубину леса, стараясь не потерять из виду мелькавшую среди кустов можжевельника спину Зои.

Они были уже не меньше как в километре от немцев, когда на передней машине начали один за другим рваться ящики с патронами.

7

Самое страшное в тылу у врага — потерять свой отряд, остаться в одиночестве. Зоя и Клубков точно пришли в тот самый овраг, недалеко от Грибцова, где Борис Крайнов назначил место для сбора всего отряда на ночевку. Но ни единой души здесь не оказалось. Куда же теперь идти? Где все товарищи? Где сам Борис? Схвачены ли они или все перебиты? Зоя вспомнила, что часа полтора тому назад слышна была сильная стрельба как раз в направлении Грибцова.

С каким нетерпением, с какой жаждой поскорее доложить Борису о выполненном задании спешила сюда Зоя и вот — темная ночь и ни души!

Трудно обнаружить в овраге человеческие следы — все заровнял снег. Кстати, а когда он перестал идти? Зоя почему-то — оттого ли, что волновалась, выполняя первое и такое ответственное задание, — совершенно не заметила, когда перестал идти снег. В поисках следов Клубков наткнулся на рогульки, на которых, по-видимому, висел над огнем партизанский котелок. Зоя разгребла сапогом снег — да, угли; пощупала рукой — холодные, да это и так было ясно, раз снег давно уже перестал на них таять. Мучительно хотелось выпить хоть глоточек горячей воды. Только бы один глоток, но обязательно чтобы вода была горячая!

— Мы выполнили задание, — сказал Клубков, — мы пришли на ночевку, куда нам было приказано, — имеем мы с тобой право по-человечески поужинать? Я, например, подыхаю от голода. Ты как хочешь, а я отсюда больше никуда не пойду. Набивай мой котелок снегом, а я разведу огонек. Не бойся, в овраге никто не увидит, — я сотворю маленький, как на тарелочке.

И Клубков в самом деле разжег между двух рогулек, на старых углях, крошечный костерик. Сухие ветки далеко искать не надо было — их осталось вдоволь еще от предыдущих хозяев костра.

— Ты покарауль, чтоб не погасло, — попросил Клубков Зою, — а я вздремну минут десять. Потом я посижу возле тебя, а ты тоже поспишь. Я читал в какой-то книжке: если человек сможет глубоко заснуть хоть на десять минут, но обязательно в полном покое, потом он опять может не спать хоть целые сутки.

И, не дожидаясь согласия Зои и совсем больше даже этим не интересуясь, он лег прямо на снег, изогнулся полукругом, чтобы лучше вбирать в себя тепло от огня, положил голову на рукав, а другой рукой прикрылся, как крылом, и тотчас заснул. У Зои не было часов, да это и не имело сейчас значения. Она решила не будить Клубкова, пока не закипит вода, а на таком игрушечном костре эта процедура займет, пожалуй, не меньше часа. У нее изменилось отношение к Клубкову, исчезло что-то похожее на брезгливость, после того как он так бесстрашно выскочил из засады к ней на выручку и этим, может быть, спас ей жизнь, — ведь еще неизвестно: сумела ли бы она своим наганом опередить выстрел настигавшего ее немца? И потом, как он находчиво, этот «тюлень», сбросил валенки и, презирая снег, дал стрекача совершенно разутый. Очевидно, она еще не понимала чего-то в этом парне, нельзя же делать скоропалительные выводы на основании того, что он вечно голоден, все время жует, вытаскивая какой-то мусор из кармана, и чавкает.

Пускай теперь отдыхает, пускай спит Клубков, пока вода не закипит, а это, пожалуй, займет даже больше часа — скупой огонечек очень уж лениво лижет доньшко котелка; разжечь же его поярче — опасно. Ведь почему-то ушел из этого места Борис и остальных увел? А может быть, Борис просто еще не дошел сюда и остальные не успели выполнить своих заданий — вот-вот подойдут к оврагу?

Ночь не была похожа на предыдущие ночи: облачное небо ни минуты не знало покоя — его то и дело передергивала судорога от близких и далеких артиллерийских залпов и разрывов снарядов; оно то, становясь темным, падало плашмя аж до самого леса, наваливаясь на деревья, то вдруг кидалось ввысь, отжатое от земли ярким светом медленно взлетающих ракет. По-видимому, шел ночной бой на многих участках фронта. Очень гремело километрах в двенадцати, под Дороховом; за Вереей тоже не спали, там чаще всего озарялось небо и кидались наперерез невидимому отсюда стервятнику золотые птички трассирующих пуль.

Нехорошо в такое время быть одинокой. У Зои было такое ощущение, точно маленький костер освещает ее насквозь, как рентген, и делает видимой со всех сторон, в то время как сама она в темноте ничего не видит, вынужденная не сводить глаз с огонька, чтобы он не погас. Она подкармливала этого доброго зверька, согревающего ее ноги в сапогах, маленькими порциями веточек, отламывая кусочки не длиннее пальца. Чтобы не выдать своего присутствия сухим треском, Зоя обворачивала конец ветки полый своего пальто и таким способом глушила звук. До кипения еще далеко, — пока что приходилось то и дело добавлять в котелок снег, по мере того как он таял.

После сна Клубков стал заметно бодрее. Но он ни единым словом не упомянул, что теперь его очередь караулить, а Зоя должна спать. Порывшись в своем мешке, он прежде всего накинудся на копченую воблу. А Зою как раз мучительно потянуло ко сну. Достаточно было сделать несколько глотков горячей воды, и еще не успел даже рассосаться во рту волшебный кусочек сахара, как вдруг все тело охватила такая блаженная слабость, будто тебе под кожу впрыснули быстродействующее снотворное. Но Зоя боялась, что, как только она заснет, Клубков тоже не устоит, повалится на уже пригретое место. Она замечала, что люди духовно примитивные, с небольшим багажом знаний, не могут долго оставаться наедине с самими собой, их клонит ко сну, у них нет материала для размышлений.

Клубков разодрал воблу руками; вытаскивая из нее кости, он проворчал:

— Какой дурак придумал такой паек, чтобы в походе, когда и без того сохнешь без воды, кормили бы тебя копченой рыбой?

Зоя ответила:

— Ты же знаешь, что в Москве тяжело с продовольствием. Партизан должен уметь сам добывать себе пищу. Возьми у меня в мешке масло, там кусочек еще остался.

Клубков взял масло и вместо «спасибо» сказал:

— Несправедлива природа к человеку: маленькому и спрятаться легче, и голод не так мучает.

— Неужели тебе девятнадцать лет? — спросила Зоя.

— Не веришь?

— Язык у тебя какой-то старческий,

— Это от той же причины: сосет под ложечкой.

Зоя вспомнила, что ведь и Шура из-за своего роста больше всех ел в семье, особенно часто он испытывал недостаток в сахаре.

— На! — протянула она Клубкову кусок сахара. — Сегодня ты его заслужил.

— Надо бы два! — сказал Клубков. — Ведь моста-то было два. А кто их разведаль?

Зоя отдала ему и второй кусок. Он с хрустом раздавил его зубами и с присвистом принялся втягивать в себя кипяток.

— А немец — третий! — сказал он, когда во рту больше ничего не осталось, и протянул к Зое руку, как за подающим.

— А это уже цинизм! — брезгливо отодвинулась от него Зоя. — Как ты не понимаешь, что такими вещами не шутят. Ведь мы убиваем по необходимости, а не для того, чтобы хвалиться этим.

Она быстро поднялась на ноги, вскинула вещевой мешок и суровым голосом сказала:

— Пошли!

Но куда же было идти?

8

Немцы начали понимать, что в лесах проводится кем-то организованная, опасная для них работа. Связь рвалась постоянно, кто-то вырезывал из проводки по двадцать, по сто, по двести метров. На обходчиков линии, направляемых для восстановления связи, каждый день производились нападения. На шоссе дорог взлетали на воздух машины. А сегодня среди бела дня взорван мост около Ширяйкова и в легковой машине погиб обер-лейтенант Готке.

Как ни боялись немцы русского леса, пришлось все-таки им войти в него. Надо было что-то предпринять против партизан. Из Петрищева выступило несколько взводов для патрулирования проселков между деревнями. Один из этих взводов обнаружил отряд Бориса Крайнова, только было расположившийся на ночлег в овраге возле Грибцова, обстрелял его и начал преследовать. Борис сумел оторвать отряд от немцев и запутать следы. Отряд отбил ручными гранатами, нанеся немцам урон. Борис Крайнов сам убил из винтовки двух немцев. Но во время перестрелки исчезли, были потеряны два пария из его отряда — то ли убиты, то ли тяжело ранены и подобраны немцами. Беспokoило Бориса и то, что не вернулись в отряд еще двое: Зоя Космодемьянская и Василий Клубков.

Рассредоточив отряд, Борис перевел его через Верейское шоссе. Это не было простое бегство, нет, отходившие в арьергарде Клава Милорадова и больной Мустафа взорвали на шоссе еще две машины; в одной из них было десятка два немецких солдат. Борис решил перекинуться по ту сторону Петрищева, — там можно было укрыться в большом

лесу, он тянулся более чем на десять километров. Чтобы сбить немцев с толку, он приказал не трогать пока проводов на этом направлении. Маневр удался: в то время как немцы продолжали обшаривать лес, искать отряд там, где густо стоят деревни — Ястребово, Мишино, Архангельское, Ширяйково, Строганка, Борис расположил отряд на ночлег уже в противоположной стороне.

Но мысль о судьбе Зои и Клубкова не давала Борису покоя. Его мучила совесть. Дело сводилось еще и к простой арифметике: двое парней потеряно, плюс Зоя и Клубков — это уже четверо, почти половина отряда! Ведь Мустафа и ремесленник уже не бойцы. С кем же выполнять основное задание Прогиса? Втроем? Ведь нет еще даже уверенности, что штаб немецкой дивизии находится именно в Петрищеве. Есть над чем поломать голову, есть от чего зародиться тревоге. Но даже не эти мысли пугали сейчас Бориса Крайнова.

Да, командир отряда указал место для сбора отряда. Космодемьянская и Клубков, безусловно, выполняют приказ, в этом Борис ни минуты не сомневался. Они явятся в овраг, а там нет ни командира, ни самого отряда и нет никаких указаний, как теперь его найти. Мало того — там западня! Чуть свет, и немцы возобновят облаву. А ночью немцы слепые от страха, ночью они не пойдут в лес. Значит, остается единственное решение: как бы ты ни устал, Борис Крайнов, иди, пока ночь позволяет, и встречай своих бойцов там, где ты обещал их встретить!

Одному идти нельзя, кого же взять с собой? Все смертельно устали. Вот они уже повалились вокруг маленького партизанского костра: кое-кто из них уже заснул. Кого же поднимать?

Пускай решат сами!

Крайнов объяснил партизанам создавшееся положение и спросил:

— Кто добровольно пойдет со мной?

— Я, — ответило сразу несколько голосов.

Сказав «я», Милорадова тут же поднялась от костра и была уже, что называется, в боевой готовности. Остальные, сказавшие «я», продолжали лежать.

— Хорошо, Клава, — сказал Крайнов, — пойдешь со мной.

В характере Клавы не сразу можно было разобраться. Казалось, что эта болтливая хохотушка попала в отряд по недоразумению. Прежде всего бросалась в глаза ее жизнерадостность, неутомимая жажда петь. Можно было подумать, что и воевать она пошла лишь для того только, чтобы добиться права на песню. Из всех, кто находился в отряде, Клава в первые же дни исхудала больше всех; казалось, что она извелась именно оттого, что ее вынуждают молчать: запрет на пение терзал ее. Она говорила, что это равносильно тому, как если бы человеку запретить видеть сны, — «нет, в тысячу раз хуже!»

На третью ночь похода Клава предложила шепотом спеть у костра и, расправив руки,

вытянув их в стороны, точно крылья, дирижируя ими, затянула чуть слышно: «Широка страна моя родная», но, видя, что никто ей не подтягивает, перешла просто на мычание.

Борис сверкнул на нее глазами, топнул ногой и приказал: «Отставить хор глухонемых!» Клава повалилась на снег и закашлялась, и было непонятно, то ли ее душит хохот, то ли она старается сдержать рыдания. Овладев собой и снова усевшись возле костра, она сказала:

— Или мне поскорее надо своими руками задушить хоть одного фашиста, или я не выдержу, дня через два выйду на опушку и заору во все горло: «Идем заре навстречу, товарищи, друзья!»

Через несколько дней, когда опять собрались у вечернего костра, Борис опросил, обращаясь ко всем:

— Кто-нибудь патроны сегодня расходовал?

Милорадова сказала:

— Парочку извела, когда из подорванной машины погнался за мной ихний шофер.

— Это ты мне уже докладывала, — перебил ее Борис. — Наган чистила?

— Ой, мамочки! — запричитала Клава, засунула руку за пазуху и вытащила свой наган.

— Виновата, Борис, сейчас так его приласкаю, что как в зеркало можно будет смотреться.

Почистив наган, она снова спрятала его за пазуху, но Борис попросил:

— А ну, покажи!

Взглянув через ствол на пламя костра, он вернул наган Клаве и приказал:

— Начинай сначала! В стволе остался нагар. — И, обращаясь уже ко всем, он сказал: — За оружие буду спрашивать беспощадно, поблажек не ждите, товарищи, никаких!

Такая была она, Клава.

Но, день за днем пристально наблюдая ее, Борис пришел к убеждению, что за внешней несерьезностью этой девушки, с которой как будто и поговорить-то не о чем, скрывается преданный человек, заботливый к товарищам, выносливый, стойко переносящий любые испытания, человек, на которого можно положиться, как на самого себя, а вся эта шумная веселость и болтливость всего лишь какая-то своеобразная форма маскировки, что-то вроде кокетства.

Поэтому Борис и сейчас несколько не удивился тому, что именно Клава, ничуть не меньше, чем все остальные, измученная за этот бесконечно долгий, один из самых тяжелых в тылу у немцев дней, — именно она откликнулась на его зов охотнее, чем другие.

Зато удивила она сегодня Зою. Когда Клава опустилась вместе с Борисом в тот самый овраг возле Грибцова, откуда Зоя и Клубков, погасив костер, решили все-таки никуда не уходить, чтобы не потерять отряд окончательно, Клава в темноте вдруг кинулась к

ней на шею, от радости принялась душить ее в объятиях и, жадно поцеловав в обе щеки, в лоб и в губы, сказала, задыхаясь:

— Зойка, если бы ты знала, как я ужасно переживала за тебя!

— А что, собственно, случилось? — спросила Зоя, ничего не понимая.

Но ее перебил Борис:

— А где же Клубков? — спросил он.

— Спит, — ответила Зоя. — Сегодня он спас меня.

И Зоя принялась докладывать о результатах минувшего дня, о том, как они с Клубковым выполняли задание.

9

На другой день перед всем отрядом неожиданно возникла такая задача, о возможности которой никто и не подозревал.

Рано утром, когда даже еще не закипела вода, а только лишь растаял набитый в котелок снег, совсем недалеко от той ложбинки, куда Борис привел Зою и Клубкова и где заканчивал сейчас свою ночевку весь отряд, раздался гулкий винтовочный выстрел.

Все вскочили на ноги, кроме больных — Мустафы и ремесленника.

— Космодемьянская, за мной! — тихо скомандовал Борис. — Иди за мной след в след, остальным всем ждать нас на месте. Костер загасить. Только не кидайте в него снег, а то зашипит и будет больше дыма.

Борис продрался сквозь молодой густой ельник, Зоя — за ним. Они прошли каких-нибудь шагов пятьдесят, не больше. Крайнов поднял руку и остановился. Отсюда уже видна была небольшая луговина на берегу ручья, русло которого легко угадывалось по сухим редким камышинкам, поднимавшим свои светло-коричневые метелки над зарослями лозняка. Там, внизу, лежал, раскинув руки, красноармеец. Вокруг его непокрытой головы, как нимб на иконе, окрасило снег большое пятно крови и струился едва заметный на бок, — значит, продолжала еще вытекать свежая кровь.

Было похоже на то, что здесь расстреляли человека. Оказалось совершенно не то.

Тот, кто лежал сейчас на снегу, выводил из окружения группу советских бойцов.

Многие из них были ранены или уже поморожены и все страдали от голода. Мелкие лужицы промерзли до дна, покрылись льдом и ручьи, замерзла вода в колеях осенних дорог. Спичек ни у кого уже не было, — жажду в большинстве случаев утоляли тем, что сосали снег. Большинство из них хрипело, кашляло и тряслось от озноба — все они были больны. Каждый день по несколько человек отставало: падали, замерзали или в полубреду шли в какую-нибудь деревню и там их добивали немцы. После каждой ночевки обязательно уже кто-нибудь не поднимался с земли. Чаще всего такие

находились во власти губительной галлюцинации: им начинало казаться, что наконец-то они добрались до родного дома и уже забрались на теплую печку, что сейчас их позовут к столу, на котором дымится миска с горячими щами и с кусками мяса, покрытого янтарным жиром. Когда товарищи пытались разбудить их и поднять с земли, они начинали рыдать и умоляли не трогать их, ведь они только что пригрелись на печке... Ни у кого не хватало сил поднять их, убедить в том, что они бредят, и несчастные оставались на веки веков на этом последнем ночлеге.

Постепенно все окруженцы теряли веру в то, что еще можно когда-нибудь дойти до рубежа и пробраться в расположение частей Красной Армии. Единственный человек, кто еще сохранял среди них мужество и имел силы нести винтовку, — их вожак — лежал сейчас на снегу с простреленной головой. Он хотел напоить своих измученных спутников, раздобыть для них воду из ручья; для этого он ухватил обеими руками винтовку за ствол и ухнул, ударив прикладом в лед отвесно, как ломом. Произошел выстрел: пуля вошла ему в горло и вылетела, разорвав затылок.

Когда Борис Крайнов, шурша о хвою шинелью, раздвинул ветки ельника и вышел на луговину, окруженцы шарахнулись от него, словно это он только что убил их вожака. Но они были так обессилены, что большинство из них тут же попадало. Успокоило их немного только то, что сладом за Борисом вышла из ельника Зоя — девушка.

Встал вопрос: как помочь этим двенадцати товарищам, советским бойцам, попавшим в такую беду? Без вожака они обречены на гибель.

Ответ мог быть только один: дать им провожатого. Зоя должна перевести их через рубеж. Так или иначе, но ведь и своих двух тоже совершенно необходимо отвести в Кунцево: у Мустафы температура сорок и одна десятая, и нет никакого сомнения, что у ремесленника началась газовая гангрена. Зоя мерзнет в сапогах, если морозы усилятся, она тоже никуда не будет годиться.

Этот вопрос Борис решил сразу — для него мог быть только один ответ. Но как накормить двенадцать человек? Ведь в таком состоянии, в каком они сейчас сидят или лежат на снегу, они не пройдут и пяти километров. А вещевые мешки в отряде Бориса уже сильно отощали.

— Тогда выход только один,- сказал Борис, — сейчас мы их напоим чаем, дадим по сухарю, и ты, Космодемьянская, поведешь их через рубеж. Все равно надо проводить Мустафу и ремесленника. Заодно проводишь и этих товарищей. Кто выдержит из них — тот выдержит, другого выхода у нас нет. Больше людей дать в провожатые я не могу. Основное задание ведь нами еще не выполнено.

— Ну, кто из нас поведет их, это мы еще посмотрим, — сказала Зоя, — а главная наша задача сейчас всех накормить! Ты должен, Борис, нас, девушек, отправить по деревням за продовольствием. Это вполне совместимо с разведкой.

Борис запротестовал:

— У нас своя задача. Мы не можем рисковать. Приказ Прогиса должен быть выполнен во что бы то ни стало!

— Выполним! — сказала Зоя. — Надо все успеть сделать. Нельзя допустить, чтобы эти люди погибли. Когда они отдохнут в Кунцево и придут в себя, может быть, каждый из этих красноармейцев сделает для победы больше, чем мы с тобой. Если очень сильно захотеть, можно все успеть сделать! Петрищево теперь уже у нас под боком, а все говорит, что штаб сто девяносто седьмой дивизии находится там: и провода, и машины, и большое хождение.

Сам того не замечая, Борис привык все чаще и чаще прислушиваться к голосу Зои, после того как заболел его заместитель, Мустафа.

— Хорошо! — как будто согласился он. — Допустим, в Петрищеве, на это действительно похоже, но ведь надо еще разведать: где там стоят часовые, сколько их, и когда происходит смена, и в каком именно доме расположен штаб.

— Я сама пойду в Петрищево и все узнаю, а заодно достану что-нибудь съестное.

«Да, так я тебя и пустил в Петрищево, — подумал Борис. — Так я тебя и пустил туда в твоих кирзовых сапогах воинского образца и с твоими глазами, в которых за двадцать метров каждый немец увидит ненависть».

— Ты, Космодемьянская, — оказал он, — пойдешь в Кунцево, а в Петрищево я pošлю Клаву Милорадову. Клаве стоит только повязаться платочком, растрепать, спустить на лоб волосы, и никто ее не отличит от колхозницы.

Однако сегодня он запретил кому бы то ни было заходить в Петрищево. В Петрищеве не должно быть никакого риска, там надо действовать только наверняка.

10

Клаву Милорадову вместе с Ольховской Борис Крайнов направил в Недетково, а Зое и Вере Волошиной разрешил идти в Грибцово. Они должны были произвести разведку и достать продовольствие.

Девушки решили действовать открыто — так меньше вызовешь подозрений. Не таясь и не озираясь, Вера и Зоя вышли из леса на шоссе, на котором происходило большое движение, между Дороховом и Вереей. То и дело девушек обгоняли грузовые машины, часто попадались и машины, идущие навстречу. Один из водителей — немец — притормозил трехтонку, открыл дверцу и запустил в девушек огрызком яблока. Вера едва успела увернуться.

— Черт паршивый! — крикнула она и засмеялась. Она быстро схватила на обочине смерзшийся комок снега и что есть силы запустила им в немца.

Но он вовремя захлопнул дверцу и газанул, снежок разлетелся в пыль, ударившись о стекло.

Минут через двадцать навстречу прошла небольшая группа солдат, они шли вольным строем. После еще долго стоял в воздухе чужой, непривычный запах табака.

Взглянув на Зою, Вера оказала:

— Зойка, возьми себя в руки! У тебя такой вид, точно ты спрятала за пазухой нож и сегодня ночью будешь их резать. Давай вспомним что-нибудь хорошее, давай посмеемся!

— Ох, как я их ненавижу! — сказала Зоя. — Как я их ненавижу! Как же еще можно смеяться? Ведь это же наша земля, наша родина!

В Грибцове, едва они миновали несколько дворов, с противоположной стороны улицы, сбежав с крыльца прямо наперерез, точно для того чтобы их перехватить, бросился молодой немец. Но оказалось, что он направлялся по какому-то своему делу, бежал и кричал: «Алло, Мюллер, Мюллер, иди сюда! Ты приготовил ведомость господину лейтенанту?»

— До чего же красив подлец! — сказала Вера. Они обе были непритворно поражены. Ведь они все больше и больше ненавидели фашистов. При упоминании о враге у них теперь уже по привычке возникало представление, как о чем-то отвратительном, наглом, отталкивающим. А тут вдруг выбежал на снежную улицу юноша с золотистыми вьющимися волосами, ласково шевелящимися на бегу, с глазами цвета полевого василька и с чистым, высоким лбом. Когда он кричал, обнажились красивые яркие зубы. Пробегая мимо девушек, немец пристально посмотрел на их ноги. Он даже оглянулся два раза, продолжая бежать уже боком, опять посмотрел на их ноги. Вера упрекнула Зою:

— Говорили тебе, не надо идти в сапогах. Какая ты все-таки упрямая.

— Он на твои валенки смотрел, а не на мои сапоги, — ответила Зоя.

Всю эту сцену видела пожилая колхозница, одетая в короткий черный тулупчик. Свежая солома торчала из задков ее разбитых валенок, должно быть, заткнула, чтобы не продувало. Она несла куда-то большущую сковородку. Лицо у нее было доброе, мягкое. Колхозница хотела было пройти мимо, но замедлила шаг и без стеснения принялась пристально всматриваться в лица Зои и Веры, словно они кого-то ей напоминали и она старалась вспомнить, где могла с ними встречаться. Она сразу поняла, что девушки дальние и находиться долго на улице им опасно.

— Должно быть, пить хотите? — спросила она.

— Да, бабушка, — сказала Зоя, — пить хотим и есть хотим.

— Ступайте за мной, я вас напою!

По дороге к дому она еще задала вопрос:

— Вы чьи же будете?

— Чьи будем — не знаю, бабушка, — ответила Вера, — а в настоящее время — дальние.

— Кто же ваши родители?

— Нет у нас больше родителей! — продолжала отвечать Вера. — Нашу деревню разбомбили немцы.

— Куда же вы идете?

— В Верею.

Колхозница остановилась, еще раз осмотрела обеих девушек с ног до головы, пощупала почему-то материю на коричневом дешевом пальто Зои и сказала:

— Врете вы все! Зачем вам обманывать старуху?

Она пошла дальше. Зоя и Вера замялись было на одном месте, но колхозница, больше не оглядываясь, рукой поманила их за собой. Когда они поравнялись с нею и пошли одна направо от нее, другая слева, она стала дергать носом, шмыгать, потом провела ладонью по глазам и сказала:

— Вот так-то и сынок мой Вася где-то бродит... Кто-то его накормит там либо нет...

Прошли молча еще несколько шагов, колхозница спросила еще тише:

— Правду ли, нет ли — немцы врут, будто уже взяли Москву.

— Не знаю, бабушка, — оказала Вера, — мы сами ничего не знаем. Нам бы только чего-нибудь покушать — и на дорогу взять. Не продадите ли нам картошечки, если можно — яичек, а нет — и за кусочек хлеба скажем спасибо.

— Никогда немцы не возьмут Москву! — сказала Зоя и даже притопнула ногой. —

Слышите, запомните это и соседям своим скажите: народ не отдаст свою Москву!

Запомните это и соседям своим окажите тоже: Москва как стояла, так и стоит на своем месте!

— Ну, тише, тише, сероглазая! — прикрикнула на нее колхозница. — Соображай, где ты находишься!

Она привела девушек в хороший бревенчатый рубленый дом дачного типа, с синими наличниками на окнах, с застекленной террасой, каких много у нас в Подмосковье. Уже в сенях, пока ее гости обтирали ноги, стал слышен хохот и гвалт в избе, доносившийся сквозь обитую клеенкой по войлоку дверь. Едва колхозница ее открыла, как в носшибануло смолистым смрадом горящих перьев и тем противным запахом табака, с которым девушки познакомились еще на шоссе. Двое немцев обсмаливали на загнетке курицу. Один из них поворачивал ее над огнем, а другой помогал ему, подсовывая под курицу туго скрученный жгут соломы, по мере того как он сторал. Из-за дыма ничего не было видно, но по количеству разнокалиберных голосов и по гаму чувствовалось, что немцев набилось в комнату до отказа.

— Черти! — сказала колхозница. — Когда же вы только успели, сколько же здесь вас?

Немцы, заметив, что сладом за старушкой входят девушки, радостно закричали:

— Марушка, Марушка! Гут, гут!

— Кушает Марушка!

— Марушка сидит, Марушка кушает!

Сидевшие на лавке посторонились, освободили место рядом с собой. Старушка успела сказать девушкам, ободрила их:

— Не бойтесь, садитесь, только ноги прячьте подальше под стол.

Рыжий бойкий солдат с медным отливом кожи на лице от необыкновенного урожая на нем веснушек налил каждой из девушек по стакану молока, пододвинул миску с хлебом и тарелку с мясом, нарезанным крупными кусками.

— Кушает Марушка! — угощал он под одобрительный смех остальных солдат. — Марушка пивает млеко! Марушка айнваниг солдатов благодарят!

Вера первая, а за нею Зоя выпили по стакану молока и принялись за мясо. Рыжий солдат все время подсовывал им то хлеба, то мяса, подзадоривая их:

— Гут Марушка! Молодой Марушка!

В комнате стоял такой непроглядный смрад и все так галдели, что ни Вера, ни Зоя не заметили, как вошел красивый юноша, тот самый немец, который перебежал им в начале деревни дорогу. Он как будто бы дружелюбно похлопал Веру по плечу и заставил ее подняться из-за стола.

В комнате стало тихо. Вера не понимала, что от нее хотят. Тогда этот красавец похлопал ладонью по светло-серым голенищам Вериних валенок, новеньких, всего только несколько дней тому назад выданных в Кунцеве со склада, и тут же бросил ей под ноги другие валенки — на замену, которые он принес с собой: старые, черные с кожаными заплатками.

Появление этого молодчика не понравилось остальным солдатам. Как только они сообразили, за чем он сюда пришел, они с криками принялись его выгонять:

— Пошел к черту!

— Это наши теплые сапоги! — Нашел место, где охотиться за теплой обувью!

— Гоните его в шею!

— Это наша Марушка! Гут Марушка!

Неизвестно, чем бы все это кончилось, но в это время на пороге появился еще один немец, и как только он что-то крикнул, в комнате среди солдат поднялась паника.

Комната быстро опустела. Через брошенную солдатами настежь дверь начало быстро вытягивать смрад, наружу и дохнуло таким чистым воздухом, что Вере и Зое захотелось вобрать его полной грудью.

Воспользовавшись неожиданной, непонятной заминкой, Вера шепнула Зое: «Бери» — и, быстро расстегнув пальто, принялась рассовывать по карманам надетых на нее ватных штанов куски мяса и ломти хлеба. Зоя тоже начала было расстегиваться, но в это время их окликнула хозяйка. Она подняла возле печки за железное кольцо крышку люка, ведущего в подполье. Девушки сразу все поняли и одна за другой скрылись там в крошечной тьме, наполненной запахами затхлой прели и сырой земли. Хозяйка напутствовала их сердитым шипением с присвистом беззубого рта:

— Чтоб духа вашего не было слышно! Сидите, пока я вас не выпущу. — Чувствовалось, что и она напугана смертельно.

В первую минуту в подполье абсолютно ничего не было видно. Постепенно обозначились тусклым светом щели между досками пола. К чему все это приведет — угадать было невозможно, но пока что, как это ни странно, после того невероятного напряжения, которое испытывала Зоя, находясь среди дикой оравы врагов там, наверху, здесь, в подвале, на нее вдруг, может быть впервые за все время ее партизанства, снизошло чувство покоя и безопасности. И, несмотря на сырость, здесь было все-таки тепло, а ведь она так назяблась в лесу, особенно во время ночевок, так ознобилась...

Над головой немцы что-то передвигали, топали ногами; из щелей, отваливаясь, падали комочки засохшей грязи, сыпался какой-то мелкий мусор. Но там больше не было бестолковой беготни и гама. По разговору, происходившему там, наверху, Зоя догадывалась, что в доме появилась какая-то важная персона, и что эту персону наспех стараются получше накормить, и что она сейчас же куда-то отбывает, торопится.

В смысле разведывательных данных разговор ничего собою не представлял. Чаще всего слышались слова: «Благодарю!», «Так точно!», «Не беспокойтесь!», «Благодарю!», «Не сомневайтесь!», «Не смею вас беспокоить!». Только один раз в разговоре мелькнула дразнящая фраза: «Да, 332-й пехотный полк расквартирован в Петрищеве. Да, штаб 197-й дивизии — на прежнем месте».

«Вот оно что! — подумала Зоя. — Штаб дивизии по-прежнему в Петрищеве? Да мы в этом теперь уже и не сомневаемся. Нам бы только узнать, в каких именно домах!» Потянувшись, чтобы расправить начавшие затекать ноги, Зоя вдруг обнаружила, что они с Верой лежат на картошке, чего сгоряча они даже и не заметили. Теперь-то уж они нагрузились картошкой, сколько удалось. Нет, в карманы пальто — это слишком мало, придумали остроумней: набили себе, напихали картошку прямо в слишком просторные для них солдатские ватные штаны — почти до самого пояса.

Запах сырой картошки, необмытой с нее земли и даже самое ощущение полновесной тяжести, когда возьмешь картофелину в ладонь, вызвали у Зои щемящие душу воспоминания о работе в совхозе «Заря» № 2 и тоску по товарищам. «Где теперь все они: Ярослав, Димочка, Петя, Лиза Пчельникава и ты где, Иринка?»

Возможно, что девушки даже и задремали в подполье, разморенные в безветрии, в тепле необычным обилием съеденной ими пищи... Во всяком случае, для Зои было полной неожиданностью, когда у нее над головой люк вдруг приподнялся и хозяйка довольно громким голосам ворчливо оказала:

— Погубите вы меня, не в легкий час я с вами связалась. Бегите!..

Только было выбрались девушки наверх и еще не привыкли к яркому после подполья свету, на крыльце снаружи опять затопали. На этот раз вошло только двое. Один из

солдат на совершенно правильном русском языке начал грубо кричать на хозяйку:
— Где ты пропадаешь, старая ведьма? Топи баню! Да чтобы у меня скоро было: одна нога здесь, другая — там! Будем мыть своего борова, обер-лейтенанта Шульца.
— А где я тебе дров найду, сатана несчастная? — ответила хозяйка довольно невозмутимо, славно она не ругательства произносила, а всего лишь пожелала спокойной ночи.

— Что ты оказала? — переспросил ее солдат.

— А то и оказала! Цельными днями варите, жарите, шарите — скоро весь дом сожжете. Тебе это понятно, хриstopродавец?

— Ничего понимать не желаю, Пелагея Васильевна, а только и меня под пулю не подводи. Если баня к вечеру не будет готова — удавлю своими руками, на твоих же воротах тебя и повешу!

— Не грозись, не грозись, а то я возьму да испужаюсь. Вот лучше поклонись моим племянницам, Катьке да Варьке, спасибо, что пришли навестить тетку. Катенька, Варюшка, вдруг сменила она голос на ласковый, — возьмите под сараем вожжи и ступайте в лес на Старые деланки. Пойдите, я вас провожу. Не надо вожжей — в предбаннике у маня хорошая веревочка припасенная, самый раз хворост вязать.

— Вот на этой хорошей веревочке, вы и будете все трое дрыгать ногами на воротах, если к вечеру баня не будет готова! — оказал солдат, уже выуживая пальцем какую-то пищу из оставленной на столе консервной банки и засовывая палец в рот.

В предбаннике старушка передала Зое узелок с десятком яиц и двумя увесистыми ломтями хлеба; столько же хлеба она дала Вере и сверх того кусок сала — граммов двести.

— Идите теперь с богом! — напутствовала она их. — Управлюсь и без вас. У меня на том краю деревни — племяш двенадцати годков. Он поможет, да и дровишки еще найдутся. Христос с вами! Ступайте! Вот так тропочкой, тропочкой и пойдете через самую чащу. Обождите в кустах темна, не суйтесь на шоссейку — сейчас у них езда самая безутешная: так и шныряют машина за машиной, так и шныряют. Ваше счастье, что лес подошел к самому моему огороду. Ступайте теперь с богом!

11

Теперь все были сыты и даже на дорогу кое-что осталось для тех, кто пойдет пробираться через рубеж, в Кунцево. Правда, Клаве Милорадовой и ее напарнице Ольховской ничего не удалось раздобыть — их самих чуть было не захватили немцы. Зато Борису Крайнову повезло: он принес конины.

Борис тоже выходил «на охоту». Сопровождать его добровольно вызвался один из двенадцати красноармейцев — танкист, который, после того как выпил горячей воды с

куском сахара и съел размоченный в ней сухарь, оказался бодрее других своих спутников. Он же подсказал Борису, где можно подстрелить «дичь». Накануне они с вожакom проходили краем большого болота недалеко от Петрищева и видели там огромные стога сена, не меньше трех. Немцы вывозят сено к железной дороге. Но на машинах к болоту не подъедешь — от болота в лес немцы везут сено на лошадях и там уже переваливают его на грузовые машины и отправляют дальше, к железнодорожному полотну.

Борис, замаскировавшись в одном из стогов, перестрелял всех ездовых в обозе — четырех немцев — и, убив одну из лошадей, отрубил окорок. Мясо жарили над костерком, как шашлык, на березовых прутиках.

Теперь оставалось окончательно решить последний вопрос, оказавшийся таким трудным: кто же в конце концов поведет людей через рубеж? Не желая ронять своего авторитета на глазах у всех, если бы вдруг Зоя опять заупрямилась, Борис отозвал ее для последнего разговора в сторону, ушел с нею в гущу ельничка. Зоя отказалась наотрез:

— Само собой разумеется, только не я! Слишком мало я еще сделала в тылу у врага. Борис подумал: «А что, если я сейчас накричу на тебя, девчонка?» Но благоразумно сдержался, заставил себя успокоиться и после продолжительной паузы сказал сурово: — Ты, Космодемьянская, доиграешься на моих нервах! Я сейчас всех построю в одну шеренгу, ты у меня станешь на коленки, и я тебя расстреляю перед строем за невыполнение приказа командира отряда.

— Хорошо, Борис, — сказала Зоя, стараясь не смотреть ему в глаза, чтоб ему не было так обидно отказываться от своих слов. — Давай условимся так: мы с тобой уничтожим штаб в Петрищеве и устроим большой пожар, который просит наша авиация. А после этого ты «поставишь меня на коленки». — Помолчав немного, для того чтобы смысл сказанного поглубже запал в душу Бориса, Зоя наконец посмотрела ему в глаза и, улыбнувшись, добавила: — Договорились?

— Ты понимаешь, — заговорил Борис тоном, в котором Зоя уже угадывала примирение, — мне некого послать, кроме тебя. Нельзя же дать погибнуть товарищам: Мустафа уже начинает бредить. Представь себе: он внезапно закричит или полезет на стенку? Погубит весь отряд. А ремесленнику, может быть, уже надо руку отсекаать. А других двенадцать человек? Они без тебя не дойдут, собьются с дороги. Немцы перестреляют их, как зайцев. Кто же их поведет, кроме тебя? Милорадовой не могу доверить. Хорошая разведчица, верный товарищ, но одну ее не могу отпустить. Не могу же я остаться без Клубкова — он единственный у меня мужчина. Ты, может быть, думаешь, что я хочу избавиться от тебя, посылаю тебя спать на печку? Ты же сама должна понимать, что на рубеже, может быть, придется пробиваться с боем. Ведь теперь ты пойдешь без разведчиков из батальона.

Зоя ответила:

— Ты отсылаешь меня из-за сапог, ты жалеешь меня. Что тебе, Борис, надо? Я еще ни разу никому не жаловалась и не буду жаловаться. Если я мерзну — это мое личное дело!

— Кого же мы пошлем? -еще раз спросил Борис и неожиданно добавил, тоже стараясь не смотреть Зое в глаза: — Сегодня я объявлю, что назначаю тебя своим заместителем вместо Мустафы.

То, что Крайнов сказал «мы» и тут же назначил ее заместителем командира отряда, Зоя приняла без всякого удивления и без торжества, по-деловому, как нечто само собою разумеющееся. Она тут же подхватила это «мы»:

— Мы пошлем Веру Волошину. Могучая девушка! Если понадобится, она пойдет даже в штыковую атаку. Отдай ей винтовку ихнего вожака.

— Вот поэтому Волошина и нужна мне в отряде, что она «могучая дивчина». А потом, и она может не захотеть уходить из отряда.

— А ты «поставь ее на коленки» и расстреляй перед строем, — сказала Зоя и рассмеялась.

Как говорится, «нашла коса на камень». Столкнулись две сильные воли: восемнадцатилетняя Зоя, которой суждено было уже через несколько дней погибнуть от руки фашистских палачей после истязаний и мучительных пыток, и Борис Крайнов, тоже всего лишь девятнадцатилетний парень, которому предстоял еще большой трехлетний боевой путь; он еще успеет закалиться и станет бесстрашным, многоопытным командиром партизанского отряда, обладающим способностью мгновенно принимать правильные решения, — а пока что это всего лишь девятнадцатилетний комсомолец, который в своих спутниках по отряду видит и чувствует прежде всего своих товарищей-комсомольцев, а потом уж подчиненных. И Борис Крайнов уступил. Зоя начинала ему нравиться все больше и больше как боевой товарищ. У него появилась уверенность, что, если Зоя останется здесь, в отряде, рядом с ним, они выполнят любое задание.

Вера Волошина заплакала, когда Борис объявил, что назначает ее старшей над всей группой, которую надо перевести через рубеж. Заплакала, но подчинилась. Уходя, она обняла Зою, поцеловала и сказала:

— Прощай! Ты стала для меня как родная сестра. Береги себя, не играй с огнем. Почему-то я боюсь за тебя!

Не хотел уходить из отряда и ремесленник Смирнов, уже весь горевший в лихорадке озноба, с воспаленными, как бы ничего, кроме своей иступленной цели, не видящими глазами. Он попросил Бориса отойти с ним в сторону и, цепляясь за последнюю возможность, стал просить его:

— Милорадова клянется, что штаб в Петрищеве. Пошли меня туда. Разреши, я пойду

прямо днем. Так будет лучше всего! Я скажу немцам, что имею чрезвычайно важное сообщение. Они поведут меня в штаб. Я выхвачу из-за пазухи бутылку и все сожгу. Все равно у меня заражение уже в самой крови, ты же знаешь, что я уже погибший. Так дай же мне возможность умереть с пользой для Родины!

— Ты уже бредишь! — сказал ему Борис. — У тебя температура. Пускай наши девчонки психуют, а тебе, Смирнов, это не подходит. Не падай духом! В госпитале в Москве тебя вылечат. Вот увидишь, мы с тобой закопаем в землю еще не один десяток немцев! Только не падай духом, и все будет хорошо.

12

В одном только Борис не уступил Зое: не позволил ей прежде времени входить в Петрищево, в самую деревню. Она должна была вести наблюдение лишь с берега Тарусы, заросшей ивняком и камышами, проложившей себе русло по самому краю деревни. Маскировка здесь была отличная. А Клаве Борис приказал пройти насквозь по самому Петрищеву. Ей без всякого труда удавалась роль простушки, это было ее естественное состояние.

Зоя еще ни разу не ходила в разведку с Клавой. Последнее время они виделись только ночью, у костра, или же в мглистых сумерках раннего утра. А сегодня солнце слепило до рези в глазах; оно исполосовало синими тенями сверкающий снег, старательно оттушевало каждую впадинку и бугорок и всю путаную лесную чащу прорисовало с поразительной четкостью, сделав видимой каждую почку, уснувшую до весны, каждую, будто навощенную, иголочку хвои и чешуйку на длинных лиловых шишках елей. При таком ярком свете стало особенно заметно, как исхудала за последние дни Клава. Но это было ей, что называется, «к лицу»: ярче поблескивали озорные, истосковавшиеся по безмятежному веселью глаза. Она по-прежнему тяжело переживала запрет на песню в своем родимом лесу. Когда она бодрствовала, она совершенно не могла обойтись без того, чтобы не шевелить языком или губами, и беззвучно вышептывала из себя песню тем способом, который она называла «наизусть».

Вот и сейчас, пробираясь лесом вместе с Зоей к Петрищеву, она тоже перебирала песни «в уме», «наизусть». Услышав в ее едва уловимом шипении, в такт их шагам, мотив «По долинам и по взгорьям», Зоя присоединилась к ней. Но от напряженного шепота, с непривычки, у нее скоро запершило в горле, она закашлялась; они обе рассмеялись, и вскоре это дело пришлось прекратить, так как уже потянуло печным духом со стороны Петрищева. Теперь предстояло им напрячь всю силу своего внимания, так как выяснилось со всей очевидностью, что именно эта деревня становится заветной целью всего их похода.

Невдалеке раздались хряские удары одинокого топора по сухому хворосту. Клава и Зоя остановились, прислушались. В районе Вереи методично, старательно работала тяжелая артиллерия; в направлении Дорохова тоже было достаточно шумно, — помимо звуков от разрывающихся снарядов и орудийных выстрелов, оттуда доносились залиvistые голоса станковых пулеметов, стрелявших длинными очередями.

— А у нас тишина местного назначения, — прошептала Клава.

Рядом, казалось, стоит только протянуть руку, и достанешь — по стволу клена ерзал толчками вверх и вниз светло-серенький поползень; скособочив головку, он косил черную бусинку глаза и что-то там выковыривал своим острым шильцем в трещине ствола.

Опять напомнил о себе чей-то топор.

— Немцы так скучно дрова не рубят, — сказала Клава. — Это местный житель.

Попробую с ним познакомиться.

В этом месте они разошлись. Зоя взяла чуть правее и продолжала приближаться к Петрищеву по целине вдоль Тарусы, выбирая места, где ивняк стоит погуще, а Клава вышла на дорогу и придала своему лицу «колхозное выражение».

Вскоре она наткнулась на небольшие саночки, оставленные кем-то на самой дороге, а невдалеке от них она увидела и хозяина топора — мальчонку лет двенадцати, которого мать послала за сушняком. Клава прошла мимо него как ни в чем не бывало, но на опушке, когда стала уже видна широкая улица Петрищева, остановилась. Вдохновение разведчика подсказало ей, что с мальчиком войти в деревню будет легче.

Вот он нагрузил свои саночки, поднатужился, еле сдвинул с места, потом они заскользили легче. Около Клавы он остановился. Низкорослый смышленый со вздернутым носиком, покрасневшимся сейчас, как морковка. На голове большая, должно быть старшего брата, ушанка, надетая боком, так что если опустить уши, то закроет глаза и рот. Мальчик скособочил, как та птичка, ерзавшая по стволу, голову, хитро, многозначаче повел черненьким глазом и окликнул Клаву:

— Тетенька, что ты смотришь?

Клава вышла по снегу на укатанную дорогу, обила, стукнув пяткой о пятку, валенки и сказала:

— Ушла из своей деревни. У нас немцы обижают девушек, угоняют на работу в Германию. А у вас есть немцы?

— В каждой избе!

Помолчали. Клава спросила:

— Что ж ты остановился?

Еще помолчали. Мальчик улыбнулся, потом натянул было веревку, чтобы стронуть санки, но полозья успели примерзнуть, и санки его не послушались. Тогда он сел на хворост и спросил Клаву:

— Что ты молчишь? Все равно я все знаю.

— Что ты знаешь?

— Ты — партизанка! Это вы сожгли машины с сеном?

— А ты кто? — спросила Клава.

— Я пионер! Не бойся. Я все знаю — честное пионерское! Я знаю, где стоят посты, когда они сменяются — все знаю. У моей бабушки стоит ихний штаб. Вчера здесь генерал был, честное пионерское. А еще у нас есть Женька-переводчик, сволочь, говорит по-русски, как мы с тобой. А у тети Клаши еще какой-то штаб — шесть машинок и — днем и ночью выстукивают. Вчера около елки фашисты старика расстреляли, карту у него нашли; говорят, учитель географии из Молоденова, по ту сторону железной дороги. И сейчас еще лежит. Хочешь посмотреть?

— Что ты?! Я уже досыта насмотрелась на ихнюю работу. Ты лучше скажи: поперек деревни большое здание в самом конце улицу запирает, это что такое?

— Школа.

— Учитесь?

— Сказала! Немцы пожгли парты. Там теперь ихние казармы. Загадили фашисты нашу школу!

Помолчали.

— Тетенька, ты не бойся! Тебе на Грибцово? Берись за веревочку, так всю деревню и пройдем, будто ты помогаешь мне. Ты, тетенька, маленькая, как я, на тебя никто не обратит внимания.

Мальчишка оказался на редкость смышленным.

Для отвода глаз он непрерывно что-нибудь рассказывал Клаве, пока они медленно тащили санки с хворостом вдоль Петрищева: о ребятах, о том, кто с кем дерется. В то же время он находил удобный момент, останавливался для передышки и, усевшись на хворост, незаметно показывал, где штаб (что и так, без его указки, было видно по густоте проводов).

— А вот еще какой-то штаб: здесь у них цельный день толкучка, то и дело машины подходят, какие-то мешки из серой холстины волокут — вроде почты.

Клава не торопясь, спокойно прошла всю деревню и потом залегла в молоденьком ельничке, недалеко от школы — теперешней немецкой казармы. Сюда, как было заранее условлено, пробралась к ней через Тарусу и Зоя. Так они здесь и лежали плечом к плечу, продолжая тщательно изучать обстановку.

Теперь Зое было совершенно ясно, почему немцы для расквартирования штаба из всех окрестных деревень выбрали именно Петрищево. А может быть, здесь и не один штаб, а несколько. В этой деревне много добротных просторных домов. Многие из них стоят под железной крышей. Для такой деревни пожар не страшен: дом от дома отступил далеко, хозяева расселились, не тесня друг друга; улица тоже на редкость широкая,

правильнее было бы даже назвать ее площадью, а не улицей — так далеко одна сторона ее построилась от другой. В случае пожара огонь не перекинется с одного порядка изб на другой — не достанет. Мальчик с хворостом сказал Клаве, что большая часть хозяев в Петрищеве портные; в каждой избе есть портной. Работали почти все они в Москве, а семьи жили здесь.

Да, заставить все это запылать не так-то легко... А сколько соблазнительных точек! Вон к избе с желтыми резными наличниками прижался огромный черный фургон; слышно, как работает движок; протянута антенна. Эту избу надо сжечь тоже — не уйдет от огня и фургон! Но на другую сторону улицы огонь, конечно, не перекинется — ширина площади метров полтора, нет, больше.

С противоположной стороны от школы улицу запирают вытянувшиеся в ряд длинные строения конюшен и хозяйственных амбаров. Это запылает все подряд, только подожди хотя бы с краешка, а там пойдет... Около конюшен Зоя насчитала сорок шесть саней с широкими полками-платформами. Тут же, возле кузницы, перековывали четырех огромных бельгийских тяжеловозов. Помимо обоза в конюшнях размещена, по-видимому, и какая-то кавалерийская часть: под на весом вдоль бревенчатой стены, на жердях, разложены седла — несколько десятков седел...

Часа три лежали Зоя и Клава в ельнике, осваивались с обстановкой, изучали немецкие порядки, запоминали, где стоят часовые, просматривали подходы.

Сильно озябли. Зоя боялась отморозить ноги — на правой ноге уже начал деревенеть большой палец, надо было пробежаться, согреться. Да и хватит лежать — все уже ясно: прежде всего надо сжечь три подряд штабные избы, недалеко от конюшен, потом надо выкурить на мороз немцев из школы, которую они запаковали. Больше всего должны дать пламени, конечно, конюшни с сеновалами и со всеми амбарами. Вот их и надо оставить на ночь с 29-го на 30-е!

Борис Крайнов не ограничился одними только сведениями, которые раздобыли Клава и Зоя, хотя их работой он остался очень доволен. Под вечер он сам пошел и залег в том же самом ельнике за школой, чтобы все проверить и уточнить. С собой он захватил и Клубкова, который, по мысли Бориса, должен был сыграть одну из главных ролей в предстоящей операции по уничтожению штаба и нанесению наибольшего ущерба живой силе немцев, расположившихся в Петрищеве.

Борис решил действовать так: невозможно одновременно поджечь в одну ночь три штабных дома, далеко стоящие один от другого, и казарму, и конюшни — у отряда не хватит людей. Надо же ведь, чтобы еще один товарищ прикрывал другого, страховал бы. Поэтому для маяка (в ночь на тридцатое) Борис решил оставить конюшни с их сеновалами и примыкающие в одну с ними линию амбары, а штабные дома и казарму сжечь двумя сутками раньше, в ночь на двадцать восьмое. Клубков будет уничтожать казарму, — от ельника ему надо будет проползти всего только метров пятьдесят, — а

Зое достанутся штабные дома. Там хоть расстояние от Тарусы и значительно больше, чем у Клубкова, но ведь Зоя в сапогах, снег еще не глубокий, и, в случае чего, ей будет легче бежать по сугробам открытым местом, чем кому-либо другому в валенках. Клаву Милорадову и Ольховскую он пошлет на дорогу между Петрищевом и Грибцовом. Они должны будут предупредить, если со стороны Грибцова появится какая-нибудь помеха, а главная их задача в этом случае — отвлечь на себя внимание.

Борис возвратился из разведки очень довольный. Теперь он был совершенно уверен, что задание Прогиса будет выполнено и тридцатого он поведет свой отряд обратно в Кунцево.

13

Зоя и Клава обменялись наганами. Клава пожаловалась, что у нее неудачный наган: бьет не плохо, но у него очень тугая экстракция — приходится ногтями вытаскивать гильзы. Прошлой ночью, когда за ней и Ольховской гнались немцы и пришлось отстреливаться, она чуть было не попала к ним в руки из-за того, что не могла быстро перезаряжать наган.

— Давай обменяемся, — предложила Зоя, — мой наган очень легко возвращает гильзы из барабана.

— А как же ты сама будешь? — спросила Клава.

— Тебе нужнее. Твоя задача как раз в том и будет заключаться, чтобы в случае чего отвлечь на себя внимание, а значит, и стрелять. Между Петрищевом и Грибцовом большое хождение и мотоциклистов много. Кроме того, у меня остались еще две гранаты, а у тебя ни одной.

И Зоя отдала наган Клаве, пожалела ее, а Клава в обмен протянула ей свой наган.

Зоя, Зоя, что ж ты наделала?!

Если бы в эту минуту около тебя был Ярослав, или Петя Симонов, или Димочка, или же Пчельникова Лиза, может быть, они и не позволили бы тебе это сделать. Да и Борис, вероятно, не позволил бы.

Пожалела Зоя в эту ночь и еще одного человека — Клубкова. Перед тем как выйти с ней на последнее задание, он не постеснялся напомнить Зое:

— Ты мне должна кусок сахара за убитого немца!

Зое опять стало противно от такого сопоставления.

Но она опять вспомнила брата Шуру и еще раз пожалела Клубкова: она отдала ему несколько кусков (себе оставила только два), кроме того, она дала ему несколько галет и две большие картофелины, испеченные в золе костра. «Завтра я опять где-нибудь достану — теперь я знаю, как это делается, — подумала она. — Пускай Клубков подкрепляется, может быть, в самом деле это ему необходимо, чтобы уничтожить

казарму и в ней как можно больше фашистов. Ведь меня будет прикрывать Борис, а Клубкову придется действовать одному».

Шел третий час ночи.

У немцев через двадцать пять минут должны были сменяться караулы. Часовые мерзли и с нетерпением ждали смены; некоторые из них даже подремывали.

Падал тихий снежок, редкий, неторопливый. Видимость была плохая — очень хорошо для начала. Через десять минут после того, как Борис и Зоя залегли на берегу Тарусы среди ивняка и камышей, их уже нельзя было заметить даже в десяти шагах — припорошило, разрисовало снежком под одну масть с окружающей местностью.

Борис не опускал глаз со светящегося циферблата часов. Через пять минут Клубков должен поджечь казарму. Деревню надо зажечь с двух концов одновременно. Сколько надо Зое, чтобы пройти от берега до первой штабной избы? Четыре минуты? Сердце у Бориса начинало колотиться все громче и громче; у него у самого разгоралось в груди что-то до того жаркое, что вот-вот снег под ним поплывет. Остается одна минута. Он протянул руку, дотронулся до плеча Зои и слегка толкнул ее, как было условлено.

Зоя не раздумывала ни одного мгновения — она пружинисто оттолкнулась от снежной земли и поднялась, придерживая руками холщовую сумку, чтоб в ней не разбились бутылки, а то еще сожжешь самое себя... Зоя шла удивительно легко, снег лежал еще совсем не глубокий и нисколько не мешал идти в сапогах по целине: толщина его была как раз такая, чтобы лишь смягчить, заглушить звук шагов. Нет, он не мешал Зое. Она шла вперед, к чему-то жуткому, неведомому, и сама поражалась своему состоянию: ей было не только ни трудно и не страшно идти, а наоборот; и не тяжесть она ощущала в своем существе и не груз какой-нибудь, а такую подмывающую, радостную легкость, словно, оттолкнись она посильнее ногой от земли, она тут же полетит по воздуху...

Четкость в движениях, слаженность и какая-то небывалая зоркость, и все тело удивительно послушно твоей воле. Все это, должно быть, оттого, что Зоя была готова решительно на все. Она себе сказала: «Погибну, но во что бы то ни стало выполню задание!», и, сказав это, она сразу же оказалась по ту сторону каких-либо сомнений; она была абсолютно уверена, что теперь-то ничто ей не помешает и что все удастся ей без особого труда.

В самом деле, никто не заметил Зою и никто не помешал ей подойти сзади, от огорода, со стороны сарайчика, к тому дому, куда тянулось, как высмотрели они с Клавой еще днем, больше всего проводов. В двух шагах от него, через окно, должно быть выходящее из кухни, Зоя заметила, что в глубине дома брезжит слабый свет. Кто-то из дежурных громко разговаривал там по телефону, а другой, потише, подсказывал ему: «Ты скажи: две тонны!» И громкий голос почти кричал: «Две тонны!», а другой снова подсказывал ему тихо: «В квадрате Е 35 — Б 41!» И громкий покорно повторял: «В квадрате Е 35 — Б 41!»

Зоя зажала в зубах кончик своей толстой варежки, стащила ее и обнаженной рукой вынула из сумки, висевшей у нее на холщовой тесьме через плечо, бутылку, до того студеную на морозе, что ладонь едва терпела прикосновение стекла.

Зоя не бросила бутылку, — для верности она, будто ступкой, продавila доньшком бутылки тонкое, хрупкое стекло в окне и, сунув туда руку поглубже, разжала пальцы — бутылка выскользнула на пол и разбилась с легким хрустом. Зоя отскочила от стены дома и тотчас же зажмурила глаза, помня как ее ослепило, когда она поджигала машины с сеном. Но все же она успела заметить, как на снегу мгновенно отпечатались оранжевый квадрат окна вместе с переплетом рамы. Чтобы от яркого света не потерять зречести, Зоя не стала оглядываться, она и так была убеждена теперь по каким-то едва уловимым мельканиям бликов вокруг нее на снегу, что все идет отлично — избу изнутри охватило пламя. Теперь она бежала уже к следующей избе.

Минуты через две раздался дикий вопль. Трудно было вообразить, что так может кричать человек. На крыльцо первой избы, на улицу, выскочил немец, весь объятый пламенем, он плашмя упал на землю и принялся, как безумный, кататься по снегу, пытаясь загасить горевшую на нем одежду. Это зрелище на какой-то срок отвлекло внимание часовых, которые подумали, что в штабе произошел несчастный случай. Услыхав предсмертный вопль фашиста, Борис привстал на одно колено в своей засаде и щелкнул затвором, поставив на боевой взвод. Он увидел, как возле следующей избы ослепительной, магниевобелой звездочкой разгорался термитный шарик. Очевидно, Зоя берегла бутылку для третьей избы, к стене которой пристроился впритирку фургон с радиостанцией.

Ну наконец-то немцы очнулись: поднялась суматоха, зататакали, залязгали зубами автоматы, немцы кричали и на этой стороне улицы и в другом конце, через площадь. А в это время всеми окнами зловеще засветилась изнутри и третья изба — последняя на эту ночь цель Зои. Молодец Зойка! Ведь буквально выполнила все задание — минута в минуту.

Убедившись таким образом, что Зоя всю свою работу закончила, Борис поднялся во весь рост. Кто теперь станет обращать внимание на него? Он ждал с нетерпением: когда же наконец вспыхнет пламя и у Клубкова, в казарме?

На огородах мелькнула тень — это бежала Зоя, она возвращалась к Тарусе. Третья изба сразу же начала разгораться почему-то ярче, чем другие, и при свете огня, уже взбравшегося по ее дранковой крыше, Борис увидел, как несколько немцев погнались за убегающей Зоей.

— Врешь, не догонишь! — крикнул Борис намеренно громко, чтобы отвлечь внимание немцев на себя и дать Зое возможность оторваться от них. Одновременно он вскинул винтовку и выстрелил в переднего немца, в темноте не видя даже мушки. Немец свалился — нет, кажется, просто залег, чтобы отстреливаться. Из дула его автомата

начало, дергаясь, вырваться толчками голубое пламя, и возле ног Бориса задымилась снежная пыль, взбитая пулями.

Борис расстрелял всю обойму и только тогда повернулся и, пригнувшись, побежал прочь от Петрищева, к замерзшей Тарусе, вставляя на бегу новую обойму и выдавливая из нее патроны в магазинную коробку винтовки.

14

Но казарма так и не загорелась... От подожженных Зоей домов пламя поднялось уже так высоко, что Борис видел на противоположном, подрумяненном заревом крутом берегу Тарусы четкую тень от каждой камышинки, от каждой веточки лозы; а когда он начал выкарабкиваться на берег, то вместе с ним поползла вверх и его собственная тень.

Здесь он еще раз оглянулся. Нет, там, где казарма, — темным-темно.

— Что же ему, рохле, растяпе, мешает? — произнес Борис вслух, больше не опасаясь погони и убежденный в том, что Зоя теперь уже далеко от немцев. Чего же он еще ждет, почему тянет?

Клубков бросил свою бутылку почти одновременно с Зоей. Он слышал совершенно отчетливо не только, как разбилась она на полу, звеня осколками уже внутри самой казармы, но и уловил даже звук плеснувшейся жидкости, однако воспламенения почему-то не произошло.

Подойти к казарме Клубкову было гораздо легче, чем Зое добраться по открытому месту до штабных изб. В этом месте к бывшей школе в Петрищеве ближе всего подходит лес; кроме того, лет пять тому назад здесь по всей опушке произвели посадку молодых сосенок. Среди этой поросли Клубков прополз совершенно спокойно, здесь он и залег у последних сосенок и стал наблюдать за поведением часовых. Открытого, голого пространства до бревенчатой стены казармы оставалось метров пятьдесят, не больше.

Часовой сильно замерз. Он опустил из-под каски подшлемник на уши и от этого слышал хуже, чем обычно. Немец был не крупный, и это ободрило Клубкова; он подумал о часовом: если бы пришлось схватиться с ним врукопашную, он бы этого немчуру одолел безусловно.

Видно было, что ноги у часового мерзнут здорово. Он не мог стоять долго на одном месте: потопает несколько раз сапогами, словно обминая, трамбуя снег около заднего крыльца, выходявшего в сторону леса, потом, подскакивая, как бойцовый петух, прищелкнет каблуком о каблук и принимается быстро ходить вдоль стены, туда и обратно, от угла и до угла — греется... Иногда часовой и вовсе скрывался за углом здания и обходил всю казарму вокруг, — тогда он минуты три-четыре не появлялся на

этой стороне.

Изучив эту манеру часового, Клубков выждал, когда он завернет за угол, быстро поднялся, подбежал вплотную к окну и бросил бутылку, в которую он так «верил». Сосредоточив внимание на том, как бы не зацепить переплет рамы, а угодить бы только в стекло и не промахнуться, Клубков перестал думать о часовом. Между тем часовой услышал плюханье о землю, как бы подушкой, от огромных валенок Клубкова, не стал обходить вокруг здание, повернул обратно и выглянул из-за угла, прежде чем раздался звон разбитого стекла.

— Хальт! — крикнул часовой и вскинул было автомат на изготовку, намереваясь стрелять. Но тут он сразу же сообразил, что Клубкова с его обувкой можно схватить живым.

Услышав «Хальт!» и увидев, что часовой за ним гонится, Клубков хотел было по уже испытанному им способу стряхнуть со своих ног валенки, но запнулся и упал. Он уже выхватывал из-за пазухи наган, когда часовой настиг его и оглушил ударом подкованного сапога по голове. Не переставая кричать во все горло: «Тревога! На помощь!» — часовой навалился всем телом на Клубкова; он ухватил было его за ворот и прижал голову Клубкова к земле, так что тот зарылся лицом в снег и поперхнулся, закашлялся. Но более сильный Клубков, изловчившись, вывернулся, прокусил мякоть ладони у часового и сбросил его с себя. Однако в это время уже подбегали немцы, разбуженные звоном разбитого стекла и криками о помощи. Получив новый удар в голову, Клубков потерял сознание и очнулся только уже на допросе в казарме. У него было теперь такое чувство, как будто его только что вытащили из какой-то темной, ужасно глубокой ямы, наполненной липкой жижей: голова гудела, он плохо слышал, из носа и верхней разбитой губы сочилась кровь.

Еще не успели догореть так удачно подоженные Зоей дома, а допрос Клубкова был уже закончен. Возиться с ним долго не пришлось, и не понадобилось даже тревожить высокое начальство, — с ним вполне управился один только немец из колонистов Поволжья, знавший русский язык, которого колхозники звали просто «Женька-переводчик».

Из всех немцев, расквартировавшихся в Петрищеве, только у одного Женьки-переводчика были волосы черного цвета-предки его считались выходцами из Голландии, — да и вообще весь он был чернявый, с синеватым отливом кожи лица, до того хрящеватого и костистого, клином сходящегося к острому носу, что казалось: возьми ты этого Женьку-переводчика за ноги, и его голову уже можно колоть дрова. — Партизан? — опросил он Клубкова, когда тот очнулся на полу в казарме. — Это ты сделал? — Женька показал пальцем на окно.

Там все еще хватало работы для огня и жарко догорали остатки срубов.

Клубков молчал, глядя на носки своих валенок, как будто пытался решить вопрос: не

они ли его погубили?

— Ну, если тебе не желательно отвечать, — сказал Женька-переводчик тоном мирного добродушия, — в таком случае мне желательно тебе погадать. Давай руку, покажи, какая у тебя линия жизни.

Клубков не шевелился. У него как бы сами собой, без всяких с его стороны переживаний, начали сочиться, беззвучно выползая из уголков глаз слезы. Женька властно взял его левую руку в запястье, потянул к себе, славно и в самом деле желая предсказать судьбу Клубкову, и тут же быстро сунул ему в ладонь — острием вперед — недокуренную папиросу и, прижав ее к живой коже, загасил папиросу в ладони Клубкова, как в пепельнице.

Клубков взвыл от боли и, стараясь вырваться из рук Женьки, вскочил на ноги. И Женька его выпустил. Клубков попятился к стене, зализывая ожог на ладони, стараясь унять боль. Он сел на скамейку, и солдаты-немцы, присутствовавшие при этом допросе, или, вернее, так и не уходившие из казармы, даже потеснились на скамейке, освобождая Клубкову место.

Женька поднялся с табуретки, сидя на которой приступал к допросу Клубкова, и подошел теперь к нему ближе, чем это требовалось для обычного разговора. Клубков заслонился на всякий случай от него рукой и проговорил:

— Не надо, не мучьте меня! Мне больно.

— Больно? — переспросил Женька. — Не может быть, ты шутишь. А ну, давай отвечай быстрее: ты партизан?

— Партизан, — ответил Клубков. — Я голоден, дайте мне чего-нибудь выпить!

После этого все пошло проще. Женька-переводчик, поняв сразу, с какого рода человечком предстоит ему иметь дело, что-то тихо сказал как раз вошедшему в это время в казарму коренастому лейтенанту с седоватыми усами, и тот отдал распоряжение, выставив широкий бритый подбородок в сторону Клубкова:

— Накормите его!

Выпив кружку горячего сладкого кофе с двумя ломтями белого хлеба, который смазал для него сливочным маслом Женька-переводчик, Клубков через полчаса уже вел в лес группу немецких солдат (двадцать человек), как раз к той поляне, где возле двойной, сросшейся стволами у корня сосны стояла береза, сверху и до самого низа разодранная в прошлом году ударом молнии. В этом месте Борис назначил обор всего отряда.

Намереваясь и впредь использовать Клубкова для особых целей, его сразу же заставили в казарме снять валенки и переодели в форму немецкого солдата, чтобы никому из местных жителей не пришло в голову, что это предатель.

Весь остаток ночи и потом целые сутки Борис бродил, кружил по опушкам вокруг Петрищева, не теряя надежды найти свой отряд, собрать всех вместе, кто с ним остался: Зою, Клубкова, Клаву Милорадову и Ольховскую.

Снег давно уже перестал падать, словно зарево пожара подсушило небо, заставило подняться выше. Но вчерашний снег успел-таки занести все старые следы, а среди новых следов, ионатоптанных немецкими солдатами уже сегодня, Борис ни разу не встретил, сколько ни кружил, следа от сапог Зои. Он хорошо изучил четкие пупырышки на ее кожмитовых подошвах, которыми она выдавливала след, аккуратный, как печатный пряник.

Борис сам чуть было не лопал в ловушку. Его спасло острое обоняние: он издали уже учуял, как с поляны, где залегли приведенные Клубковым немцы, потянуло чужеродным духом: запахом табака немецкого вермахта и давно не стиранного, пропотевшего нижнего белья.

«Что же произошло? — ломал голову Борис над этой загадкой. — Что? Лес велик, но почему же немцы устроили засаду именно здесь, где я указал собраться всем вместе? И почему это совпадает с тем, что Клубков не поджег казарму? Почему?..

Нет Зои, нет Клубкова... А что произошло с Клавой Милорадовой и ее напарницей Ольховской?»

Борис даже пошел навстречу к ним по дороге на Грибцово, он подумал, что, может быть, ему удастся предупредить их о засаде. Примерно в километре от шоссе на Варёю он услышал короткую перестрелку: стреляли два или три автоматчика, а затем было несколько одиночных выстрелов из нагана. Борис попробовал приблизиться — может быть, Милорадовой и Ольховской нужна помощь? Но Бориса самого обстреляли немцы и в двух местах пробили его теперь уже пустой вещевой мешок. Больше он не мог рисковать собой. Пока последнее задание Прогиса не выполнено — не зажжен «маяк» для авиации, Борис обязан беречь и самого себя.

И вот Борис остался один...

Радость от того, что штаб уничтожен, постепенно начала угасать. А кто же выполнит последнее задание? Было условлено, что это сделает Зоя, а Борис должен был ее прикрывать, как и прошлый раз. Но ведь теперь все изменилось... Где доказательства, что Зоя жива? И кто может поручиться, что она одна-одинешенька в состоянии зажечь «маяк»?

Борис решил сам поджечь конюшни с их сеновалами, а заодно должны загореться подряд и все амбары.

Жаль только, что сегодняшняя ночь ничем не похожа на ту припорошенную тихо падающим снежком темную ночь, когда они вместе с Зоей лежали на берегу Тарусы. Сегодня в облачном пологе много синих, звездных окон, а порой, нетерпеливо стряхнув с себя жемчужную, тусклую пелену, вырывается на простор и сама луна. Трудно

подойти незамеченным.

Нет, ничего у Бориса не получилась. Со стороны Тарусы Борис теперь не решился пробовать — этот маршрут запретный, здесь немцы уже обожглись. Но и с противоположной стороны, там, где к конюшням пристроены амбары, часовой встретил Бориса огнем, хотя он выждал самые темные минуты, когда луна надолго ушла за облака

На какие-либо новые попытки времени больше не оставалось. И тут Борис принял совершенно новое решение, удачное решение: он поджег огромные стога сена там, где он позавчера охотился за кониной. Это совсем недалеко от Петрищева, с воздуха такое расстояние не имеет никакого значения, когда речь идет о промежуточном маяке для дальнего маршрута. Да ведь Прогис так и указал: в районе деревень Архангельское, Петрищево, Грибцово.

Борис растянул свечение «маяка» надолго: сначала он поджег только один стог, потом особенно ярко сторели оба вместе, второй и третий, потому что близко стояли один от другого, и, когда их пламя начало затихать, Борис поднес спичку к последнему, четвертому. И в это время на востоке зародился звук, заставивший Бориса поднять голову гордо. Громче, ближе, еще ближе!.. Пошла на бомбежку наша, советская эскадрилья....

Итак, задание Прогиса выполнено точно в указанные сроки. Около стогов Борис даже отогрелся, он пропарил всего себя насквозь, прокалил до последней косточки, отыгрался за все студеные ночевки на голой земле и на снегу. И на душе стало как будто светлее. Но надолго ли? По мере того как пламя угасало и на груди жара, похожей на огромный клубок перепутанной раскаленной проволоки, начали проступать тусклые, рыхлые пятна пепла, Борису становилось все более тягостно и стыдно.

Мыслимо ли кому-либо вообразить, что при гибели боевого корабля из всего экипажа корабля остается живым и выходит сухим на берег один лишь капитан? А вот он, Борис Крайнов, командир партизанского отряда, потерял свой отряд и возвращается «на берег» один, без единой царапины...

Борис прижался лицом к жесткой, мертвой на холоде, как белый камень, коре березы, залитой зеленоватым светом луны. Ему хотелось туго провести щекой по шершавой коре, расцарапать лицо, причинить себе боль, тогда было бы легче; ему хотелось плакать, но слез не было.

А снег у него под ногами, свежий и легкий, играл в свете луны многоцветными гранями, переливаясь мириадами радужных блесков. Как только луне удавалось освободиться, выпутаться из расползающейся ватной пленки облаков, тотчас же каждая снежинка зажигала свой волшебный фонарик — отвечала луне сигналом. И все время не оставляла Бориса, а, наоборот, приходила в голову все чаще и чаще

мысль об этой упрямой девчонке, о Зое Космодемьянской, которая для него становилась с каждым днем все ближе, все необходимее... «Как здорово, как ловко Зоя действовала в Петрищеве! Но что же произошло с ней?»

Может быть, непростительная вина Бориса заключается в том, что он пошел на то, чтобы Зоя в качестве маяка пыталась поджечь конюшни и амбары? Если оказалось так просто зажечь факел из стогов сена, зачем было рисковать и снова лезть в Петрищеве? Нет, это несравнимые величины. Гораздо больший моральный эффект был бы от повторного пожара в самой деревне. Это действительно значило бы, что земля начинает гореть у врага под ногами, что нет спасения, нет ему пощады от народных мстителей, и среди населения крепла бы вера, что недолго еще врагу осталось топтать нашу родную землю.

Бориса мучил голод. И вместе с тем даже самая мысль о еде казалась сейчас ему отвратительной, как какое-то кощунство. У него еще оставался в мешке кусочек сала, простреленное яблоко и два сухаря. Все это он теперь вытащил из мешка и далеко отбросил от себя прочь. Нет, без товарищей ничто теперь не шло ему в горло.

От сильного мороза треснуло дерево, и сейчас же, где-то (недалеко, раздался выстрел. Борис мгновенно передернул затвор и вскинул винтовку к плечу. Да, он еще жив, черт возьми! И чувствует сам, что в его груди бьется комсомольское сердце орленка. Он еще сумеет наделать беды фашистам, он будет мстить, он будет освобождать родную землю. А мало ли что бывает и случается на войне?! Его не так-то легко подмять и согнуть в дугу! Он еще повоюет, черт возьми! Он еще не одного фашиста уложит в могилу. Он отомстит и за своих партизан-товарищей и за всех!

Сварившись с компасом и сообразовавшись с положением луны, Борис пошел лесной целиной напрямик к рубежу, чтобы предстать перед Прогисом, и пусть Прогис решит: виноват ли Борис в чем-либо или нет.

16

А с Зоей произошло вот что.

Свиридова Семена Агафоновича мало кто знал в Петрищеве — своего дома здесь он не имел, снимал квартиру. Он лишь недавно, не более как с год тому назад, приехал сюда из Белоруссии. Сначала жил один. Работу себе он нашел на торфоразработках, километрах в трех от Петрищева. Немного обжившись, Свиридов вызвал к себе из Белоруссии дочь шестнадцати лет и сына двадцати одного года. Сын тоже устроился на работу по торфу и до призыва в армию жил в Петрищеве с отцом, а дочь стряпала на них на всех.

Никто из местных жителей никаких подробностей о жизни Свиридовых — ни о прежней, ни о теперешней — не знал, вся семья эта была какая-то нелюдимая: в гости

к себе они никого не звали и сами ни к кому не ходили, на работу в колхоз тоже не просились. На вид Свиридову было лет сорок пять — сорок восемь, но он уже жаловался на болезнь сердца, и этому легко можно было поверить. Свиридов был всегда бледен, с лиловатыми тенями на скулах и в обводах вокруг глаз, в глубоких впадинах под бровями, губы — сухие, темные до синевы, туго сжатые. Заметно было, что бороду он стал отпускать лишь недавно: росла она скупно, и оттого, что среди редкого рыжеватого с проседью волоса сквозила кожа, лицо у него имело неприятный, запущенный вид, да и стригся он тоже редко. Вообще Свиридов производил впечатление человека, живущего невесело, как бы через силу, в неохоту. А вот дочка у него выросла хорошенькая, голубоглазая, но тоже почему-то всех дичилась и жила молча, словно глухонемая.

Свиридов старался не быть на виду и при немцах, так как не был уверен, прочно ли они здесь закрепились. Долгое время в Петрищеве так никто и не знал, кто же это указал немцам урочище в лесу, где колхозники спрятали своих коров. Могли бы они ничего не знать о Свиридове и дальше, если бы в ночь на тридцатое Женька-переводчик не повязал бы Свиридову на левый рукав белую повязку.

Дело в том, что после того, как Зоя сожгла штаб, немцев нельзя было узнать. Повсюду в Подмосковье работа партизан начинала приносить обильные плоды. Немцев бесило то, что в то время как Москва, по их убеждению, вот-вот должна пасть, когда танки Гудериана уже под Тулой и Каширой и на Ленинградском шоссе бои идут уже между Крюковым и Сходней, — в это самое время в лесах под Москвой, в самой гуще расположения германских дивизий, беспрепятственно действуют многочисленные группы советских партизан: они подрывают мосты, жгут деревни, выгоняя немецких солдат на мороз, который с каждым днем усиливается все больше, они не только по ночам, но и среди бела дня уничтожают автомашины с боеприпасами и мотопехотой. На Угодоком заводе отряд партизан в трехчасовом бою уничтожил штаб 22-го армейского корпуса, а другие партизаны сожгли в Петрищеве штаб 197-й пехотной дивизии. Постоянная порча партизанами линий связи то и дело нарушала нормальную работу других штабов.

По всем частям и подразделениям немецкое командование направило приказ об усилении караульной службы. Комендантов населенных пунктов этот приказ обязывал привлечь к охране разного рода объектов местное население и под страхом расстрела увеличить ответственность населения за соблюдение общего порядка.

29 ноября староста по требованию коменданта созвал общую сходку колхозников и в Петрищеве. Главным действующим лицом на этой сходке был все тот же Женька-переводчик. Он объявил, что после того, как «поджигатели» сожгли в деревне дома, немецкое командование требует, чтобы теперь каждый житель сам охранял свое жилище, и что каждый житель мужского пола обязан принимать участие в несении

караульной службы, помимо немецких часовых.

В первую же партию на ночное дежурство попал и Свиридов. Среди дежурных были распределены посты в разных концах Петрищева, а Свиридову достался пост как раз около конюшни. Всем дежурным Женька-переводчик повязал белые тесемки на левую руку.

Отправляясь на пост, Свиридов сначала зашел к себе на квартиру, поужинал картошкой, размятой в миске и залитой молоком, потом взял свою охотничью двустволку, вложил в оба ствола по патрону и отправился к конюшням.

Ночь была морозная, и за непрочным пологом облаков по жемчужному просвету угадывалось, что луна вот-вот может показаться. Она и появилась, когда мороз усилился, словно прожгла облачную пелену, которая становилась все тоньше и невесомее по мере того, как мороз усиливался.

К двум часам ночи немецкий часовой сильно продрог в своих кожаных сапогах. Он пытался согреться, подпрыгивая на одном месте и прищелкивая каблуками. Но мерзли не только ноги, сильно зябло лицо, да и руки в перчатках тоже мерзли. Часовому стало обидно, что русский мужик стоит себе как ни в чем не бывало — в полушубке и в валенках, а он, немецкий солдат, должен страдать в сапогах и в холодной шинели. А до смены еще далеко. И вот часовой, погрозив Свиридову пальцем и знаками объяснив ему, что он никуда не должен уходить с этого места, сам взял и отправился погреться в ближайшую избу, первую с края.

Зоя давно уже следила за часовым, и, как только он исчез со своего поста, она поднялась во весь рост на берегу Тарусы почти в том самом месте, откуда она начинала действовать и первый раз, только метров полтора южнее, ближе к конюшням.

Луна только что скрылась за облаками, на этот раз плотными, как льдина, не пробиваемыми лунным лучом, и на Петрищево нашла глухая тень. Начинать было очень удобно — момент лучше этого не придумаешь. Но Зоя совершенно не знала, что, помимо немецкого часового, конюшни охраняет еще один человек.

Свиридову было тепло в полушубке и валенках. Он как стал возле крайней при входе в деревню избы, как раз против конюшен, так и не сходил со своего места и, чтобы подольше сохранить избяное тепло, привалился спиной к возу сена, привезенного сюда еще с вечера, да так и оставленного перед раскрытыми воротами сарая. Здесь Свиридов пригрелся и даже чуть было не задремал, только уход с поста часового заставил его немного встряхнуться возле воза и стать попряме, чтобы и в самом деле не заснуть.

Заслоненный со стороны Тарусы сараем и возом сена, Свиридов не был виден Зое. Не видел и он Зою. Может быть, он так бы ее и не заметил, если бы как раз к тому времени, когда Зоя уже прошла мимо сарая и к Свиридову была уже обращена спиной,

луна вдруг не пробилась сквозь облака, как сквозь трещину в разводьях льдин, и не обдала ярким светом бревенчатые стены конюшен и все покрытое искристым снегом пространство от Тарусы до околицы деревни, оставляя лишь самого Свиридова в глубокой тени, отбрасываемой сараем и возом сена. Длилась эта иллюминация всего лишь несколько мгновений, потом набежала опять плотная тень, но для Свиридова оказалось достаточно и этого.

Он хотел было крикнуть, но страх перед партизанами, о которых каждый день слышно было что-нибудь новое и которые только позавчера сожгли в Петрищеве штаб, парализовал Свиридова, точно завалило ему горло сухим песком, и крика у него не получилось. Подумал было он: «Выстрелю в воздух из обоих стволов разом» — и тоже не собрался с духом. Наоборот, он затаился как можно тише, и, когда Зоя прошла дальше, он боком-боком, быстро, но бесшумно прошел в избу и вызвал часового-немца, того самого, что ушел погреться, а сам побоялся даже высунуться наружу — остался в сенях.

Последние двое суток Зоя провела в лесу совершенно одна. Все ее попытки найти Бориса на условленном месте или хотя бы встретиться с Клавой Милорадовой и Ольховской не привели ни к чему. По множеству натоптанных немецкими сапогами свежих следов она догадывалась, что немцам стало известно о существовании отряда, немцы ищут отряд вокруг Петрищева. В какую бы сторону Зоя ни шла, она натыкалась на немцев. Вступать с ними в перестрелку она избегала, приняв совершенно правильное решение: сохранить себя до последней возможности, чтобы выполнить задание до конца-зажечь «маяк» для авиации. Ведь не было никакой возможности узнать, что же произошло с Борисом, жив ли он, а значит, Зоя не имеет права рисковать собой. Может быть, кроме нее, больше уж абсолютно никто не в состоянии поджечь конюшни.

Зоя очень мерзла. Теперь уж не только затвердели сапоги и деревенели на ногах пальцы. Зоя ознобилась вся насквозь и тряслась мелкой дрожью, не в силах согреться. Разводить костерчик она себе запретила категорически по тем же соображениям: не рисковать и сохранить себя для последнего действия. Зоя не делала попыток зайти в какую-нибудь деревню и достать себе что-нибудь съестное. За последние сутки она очень изголодалась.

Теперь, когда Зоя была так одинока в морозном лесу, она то и дело думала о своих школьных друзьях. Может ли Ярослав представить себе, где она, что с ней происходит? Думает ли он о ней? Ах, если бы сейчас были они все здесь, вместе с нею: Ярослав, Шура, Петя Симонов, Димочка Кутырин... С горечью вспомнила Зоя глупую историю с бутылкой и соской. И ей стало стыдно. «Глупая и зачем я тогда так придиралась к Ярославу, зачем?! И вообще зачем я так часто надоедала своим товарищам всякого рода советами и наставлениями, зачем была так строга с ними? Какая же я была

маленькая даже в прошлом году...»

Тяжелее всего было Зое лежать неподвижно на берегу Тарусы, не опуская глаз с часового. Здесь уж она замерзла совершенно. Когда Зоя подошла к конюшням и уже надо было вынимать бутылку из сумки, у нее так ооченели пальцы даже в теплых варежках, что она едва могла шевелить ими. Все же она сумела обильно полить бревна бензином и даже заплеснула вверх под широкую застреху, под самую дранку, откуда свисали клочья сена. На морозе приятно запахло резким, бодрым запахом бензина. Самовоспламеняющейся жидкости у Зои больше не сохранилось.

Зое оставалось только одно: вытащить из-за голенища сапога терку и чиркнуть об нее термитным шариком. Терку она держала под рукой, в голенище, для того чтобы не копать, не искать ее в сумке. Только было она нагнулась и засунула руку в сапог, как раз в этот момент ее и обхватил сзади, со спины, своими руками, как клещами, часовой, предупрежденный Свиридовым. Стараясь ее удержать, он молча сопел, обдавая ее отвратительным запахом от перегара табака и шнапса.

Гадливое чувство от этого мерзкого духа придало Зое силы, и она вырвалась из рук немца. Быстро выдернув из-за пазухи наган, Зоя, не целясь, — и без того было достаточно близко, — выставила его вперед и нажала на спуск, намереваясь разрядить прямо в грудь фашисту. Но что это такое? Раздался сухой щелчок ударника на морозе, а выстрела не произошло. Наган, отданный Зое Клавой в обмен, почему-то отказал... И немец, который должен был рухнуть от партизанской пули, успел ударить Зою по руке, прежде чем она до конца дождала спуск во второй раз.

Глава пятая

1

Мать Зои ждала писем. Она непрерывно думала о Зое, думала о ней днем, думала о ней ночью, во время бессонницы... Конечно, Зоя «оттуда» не может писать много, но хотя бы какой-нибудь клочок бумажки, листок из блокнота, записочку, одну только фразу, всего лишь несколько слов или хотя бы прислала, передала бы с кем-нибудь одно только слово: «Жива».

Последней весточкой от Зои была открытка из Кунцева, которая потрясла Шуру, брата Зои. Всего только две строчки: «Дорогая мамочка! Я жива и здорова, чувствую себя хорошо. Как-то ты там? Целую и обнимаю тебя. Твоя Зоя.»

Зоя понимала, какое впечатление эта открытка произведет на Шуру, и жалела его; ей было больно за него, но она ничем не могла помочь ему. Не могла же она врать и приписывать в открытке о дедушке и бабушке. Одно дело отвлечь внимание какого-нибудь ребенка невинной выдумкой и совсем другое — длительно лгать о дедушке и бабушке и о том, что будто бы живешь в Сибири, да еще, сверх того, закреплять эту

ложь при помощи чернил и пера.

Если бы от Зои было получено длинное письмо, может быть, Шура ничего бы и не заметил. Но его поразила именно краткость. Он достал из ящика стола увеличительное стекло и попытался разобрать неясный штемпель на открытке. Никакого сомнения: на открытке стоял номер полевой почты, то есть воинской части!

Шура лег на кровать, сразу ощутив в своем теле какую-то необъяснимую слабость. Он начал припоминать все мельчайшие подробности поведения Зои перед ее отъездом в Гаи. И вдруг он все понял.

— Какой же я баран! — произнес он вслух. Ему стало мучительно стыдно, когда он вспомнил свою самонадеянную, идиотскую фразу: «Сейчас в Москве девочкам не место!» До того сделалось ему стыдно, что он зарылся головой под подушку и замычал, застонал, как от физической боли.

«Кто же оказался ребенком? — мучил самого себя Шура. — Провела за нос и кого же? Меня, который поучал ее и как девочку выпроваживал из Москвы!»

И долго еще эта обида заслоняла от Шуры истинный смысл самого главного. А потом, как-то вдруг, вошло в сознание что-то огромное, важное, совершенно отодвинувшее на задний план все мелкое, личное, обожгла мысль об опасности для Зои, и наконец Шура понял: «Если она не сказала мне ни слова, значит, нельзя — дело идет о военной тайне!»

Да, но любую тайну они — брат и сестра — могли бы свято хранить, оба вместе. Ведь прожили же они всю жизнь вместе и учились вместе в одном и том же классе, «хотя и считается, что я младше ее...»

Догадываясь о том, что мучает Шуру, мать пыталась что-то говорить ему, но он почти не слышал ее слов и ничего не отвечал, отлично зная, что она всего-навсего хочет лишь утешить его. Ночью, когда свет уже был погашен в комнате и, как обычно, завывли сирены воздушной тревоги (мать и сын давно уже привыкли никуда не уходить во время бомбежек), Шура, лежа в постели (теперь он спал на кровати Зои), сказал в полной темноте:

— Мама, а все-таки мы должны были уйти с Зоей вместе. Не надо было это скрывать от меня. Напрасно Зоя ничего мне не сказала. Жили вместе, учились вместе и уйти тоже должны были вместе!

На другое утро Любовь Тимофеевна ушла на работу, когда было еще темно и Шура еще спал, прикрывшись одеялом с головой, — он работал в дневной смене. Она закрыла за собой дверь совершенно бесшумно, как делала это всегда, чтобы не разбудить его преждевременно. Но он проснулся, едва она вышла, точно от внезапного толчка, и сразу же вспомнил номер полевой почты на открытке.

Зоя на фронте! Обижаться на нее может только ребенок. «Но все-таки неужели ей могло прийти в голову, что я кому-то выдам тайну? И почему тайна? Если боец идет на

фронт, разве это тайна?»

Не умываясь и не прикоснувшись к завтраку, который мать, как всегда, оставила для него на столе, закутав миску газетами и шерстяным платком, Шура рывком выдвинул ящик стола и вытащил папку со своими рисунками, затем он с этажерки достал все свои наброски, эскизы, зарисовки: акварель, гуашь, уголь, цветной карандаш, перо, этюды масляной краской.

Все эти его работы за последние два года, с тех пор, когда он стал их собирать и хранить, показались ему в это утро безнадежно слабыми. Мазня! Лепет ребенка! Без всякого сожаления Шура принялся рвать в клочья все, что сделал он на бумаге, и кромсать ножницами полотно, покрытое маслом. «И это когда-то могло меня удовлетворять? — бичевал он самого себя. — Мазня! Чепуха! Разве так надо работать?» У Шуры в это утро было такое состояние, будто в его жизни произошла невозвратимая утрата и он должен собираться в дальнюю, очень дальнюю дорогу. Он все забраковал и уничтожил. Но портрет Саша-гармониста Шура пощадил (Сашу тоже призвали уже в армию), оставил он и набросок, изображавший спящего ребенка Лины, да еще портрет Зои и свой автопортрет — масло. Все же остальное, валявшееся уже клочьями по всему полу, он подобрал, засунул в печку и поджег.

Только после этого Шура наконец умылся и позавтракал. Исчезла теперь и вся обида, точно она сгорела на том костре, который он сейчас устроил. Да, только теперь, когда он отбросил от себя все детское, маловесомое, мелкое, он наконец успокоился: «Дело не в тайне. Зоя потому ничего мне не сказала, что она совершенно законно боялась, как бы я не пошел с ней вместе. Пожалела маму. Она оставила меня для мамы. Поэтому она и сказала мне, когда обняла на прощание: «Береги нашу маму!» Больше ни Шура, ни его мать ничего друг другу об открытке не говорили. Но оба напряженно ждали, каждый день ждали от нее какой-нибудь вести. Прошел ноябрь, прошел декабрь — ни слова, ни звука, ни одной строчки...

Ничего не знал о Зое и майор Прогис.

Вот уже благополучно возвратилась из вражеского тыла двойка — Клава Милорадова и Ольховская, на свой страх и риск пробравшиеся через рубеж после того, как они потеряли надежду найти свой отряд.

Клаву спас наган, который отдала ей Зоя. Под Грибцовом их с Ольховской совсем было схватили немцы. Они уже начали окружать их и не стреляли, надеясь взять живыми. Особенно старался один из немцев: Клава даже уже слышала его дыхание у себя за спиной. Но тут она внезапно обернулась, сделала стойку и, положив для твердости правую руку на согнутую в локте левую, в упор застрелила немца. После этого выстрела немцы сами открыли стрельбу, но было уже поздно: девушки вырвались из кольца и ушли.

Выздоровел и снова просился в отряд Мустафа. Выписался из госпиталя и ремесленник

Смирнов, врачи сохранили ему даже руку. Смирнов был единственным, кто мог хоть что-нибудь рассказать о Вере Волошиной. Он видел ее последний. Вера прикрывала переход через рубеж; чтобы дать возможность перебраться через рубеж тем, кого она сопровождала, Вера вела перестрелку. Потом она сама поднялась и побежала, но была ранена. Смирнов видел, как два немецких солдата топтали Веру Волошину ногами. Что было с ней потом — никто не знает.

Еще до того, как в Кунцево возвратились Клава Милорадова и Ольховская, перед Прогисом предстал Борис Крайнов, измученный, исхудавший, с горящими, почти безумными глазами.

Все, кто знал Бориса, кто был в его отряде и теперь вернулся в Кунцево, все в один голос говорили о нем, что это замечательный командир отряда, заботливый, храбрый, осторожный, умный, и просили майора Прогиса и комиссара Кленова о том, чтобы им опять дали возможность быть в его отряде.

Если у Прогиса и Кленова, после того как Борис из немецкого тыла вырвался только один, и возникли вполне естественные сомнения в способности Бориса возглавлять отряд, то теперь, когда появилось столько живых свидетелей этого похода, всякие сомнения отпали. Был сформирован еще один отряд, во главе его Прогис назначил опять Бориса Крайнова и отправил его в тыл врага с новым, более трудным заданием и никогда об этом не жалел.

Но о Зое Космодемьянской не было слышно абсолютно ничего.

Неожиданно в самом начале января к Прогису явился Василий Клубков. Он доложил майору, что в Петрищеве ему удалось бросить в казарму бутылку, но она не воспламенилась и немцы его схватили. Он же, Клубков, заявил, что Зоя Космодемьянская тоже попала в руки врага: он это видел своими собственными глазами. Дальнейшую ее судьбу он не знает, но его лично будто бы отправили на работу в Германию. И вот только теперь ему удалось убежать из плена.

Но уж очень благополучный был внешний вид Клубкова, хотя немцы и обрядили его для маскировки в обмундирование достаточно потрепанное; питали его, как видно, вполне сообразно с его большим ростом: цвет лица он имел здоровый, и, главное, в его поведении не было каких-либо следов того, что он длительное время находился в подавленном настроении, не заметно было и естественного, искреннего проявления радости от того, что ему удалось вырваться на свободу.

Многоопытный Прогис сразу понял, в чем здесь дело. Он сказал:

— Хорошо, Клубков. Ты устал, о подробностях поговорим после. Иди отдыхай.

Клубков был взят. Первое, что он попросил, находясь под арестом: «Накормите меня или дайте чего-нибудь попить — жрать хочется до потери сознания!»

Его расстреляли. Накануне приведения приговора военного трибунала в исполнение Клубков в письменном виде изложил, что немцы завербовали его для шпионажа. Он

прошел у них специальные курсы и теперь был переброшен через фронт для подрывной работы на советской территории.

Теперь майор Прогис и комиссар Кленов знали, что Зоя никогда больше к ним не вернется, не вскинет броском голову, чтобы уложить на место, поправить спускающуюся на лоб непокорную прядку волос, и не скажет: «Само собой разумеется!», чуть сощуриив голубовато-серые глаза.

Прогис достал папку, которую никогда никому не доверял и хранил у себя, со списками отрядов и с перечнем всех партизан, с именем-отчеством и фамилией каждого из них, с приложением всех биографических сведений. Он нашел в списках все, что было записано о Зое. Он даже взял было в руку перо, но рука не поднялась... Нет, Прогис не стал вычеркивать ее имя и фамилию. Пускай живет Зоя Космодемьянская!

2

Когда Шура уходил в ночную смену и Любовь Тимофеевна оставалась одна, она выдвигала ящик комодика и принималась перебирать (в который уже раз!) вещи Зои: вынимала из ящика и разглаживала у себя на коленях ее кофточку, белье, просматривала школьные тетради, перечитывала написанные ее рукой сочинения на заданную тему.

Два раза приходил Ярослав, спрашивал у Любви Тимофеевны, заглаживая ладонью назад и без того хорошо лежавшие на голове волосы: «Нет ли писем от Зои?» Нет, ни писем, ни вообще хоть какой-нибудь весточки больше от Зои не было.

Ярослав сильно изменился в самый короткий срок.

Любовь Тимофеевна даже не могла бы определить, в чем, собственно, выражается эта перемена. Исхудал он не так уж заметно, а вот глаза... У Ярослава исчезло спокойное выражение юноши, все время слушающего доносящуюся откуда-то из далекого далека чудесную музыку; в его глазах появилось что-то нетерпеливое и даже воспаленное. Он перестал играть на рояле, теперь уже было не на чем играть: дом разрушен вместе с инструментом, а в школе размещена воинская часть. От этого Ярославу было еще тяжелее, но все же не это терзало его больше всего...

Оба раза, узнав от Любви Тимофеевны, что писем нет, Ярослав уходил молча. Любовь Тимофеевна пробовала расшевелить его, спрашивала о работе Зои в совхозе, но он отвечал так неохотно, что из разговора ничего не получалось. Но уходил он от дома № 7 недалеко. Старая партизанка Александра Александровна видела из своего окна, как бродил он по Старопетровскому проезду взад и вперед, взад и вперед, точно он боялся, как бы не прозевать почтальона, который должен же был когда-нибудь принести письмо от Зои...

Нет, писем не было. Не было никаких известий от Зои ни в ноябре, ни в декабре, ни в январе.

Между тем затянувшаяся битва под Москвой нарушила все планы немецкого командования, и во всем ходе войны произошел наконец перелом, вселивший в сердца советских людей уверенность в том, что величайший всенародный подвиг рано или поздно завершится победой.

В середине декабря Совинформбюро сообщило о провале немецкого плана окружения и взятия Москвы:

«Поражение немецких войск на подступах Москвы.

...С 16 ноября 1941 года германские войска, развернув против Западного фронта 13 танковых, 33 пехотных и 5 мотопехотных дивизий, начали второе генеральное наступление на Москву.

Противник имел целью, путем охвата и одновременного глубокого обхода флангов фронта, выйти нам в тыл и окружить и занять Москву. Он имел задачу занять Тулу, Каширу, Рязань и Коломну — на юге, далее занять Клин, Солнечногорск, Рогачев, Яхрому, Дмитров — на севере и потом ударить на Москву с трех сторон и занять ее.

...До 6 декабря наши войска вели ожесточенные оборонительные бои, сдерживая наступление ударных фланговых группировок противника и отражая его вспомогательные удары на Истринском, Звенигородском и Наро-Фоминском направлениях. В ходе этих боев противник понес значительные потери.

...6 декабря 1941 года войска нашего Западного фронта, измотав противника в предшествующих боях, перешли в контрнаступление против его ударных фланговых группировок. В результате начатого наступления обе эти группировки разбиты и спешно отходят, бросая технику, вооружение и неся огромные потери.

...Германское информационное бюро писало в начале декабря:

«Германское командование будет рассматривать Москву как свою основную цель даже в том случае, если Сталин попытается перенести центр тяжести военных операций в другое место. Германские круги заявляют, что германское наступление на столицу большевиков продвинулось так далеко, что уже можно рассмотреть внутреннюю часть города Москвы через хороший бинокль».

Теперь уже несомненно, что этот хвастливый план окружения и взятия Москвы провалился с треском. Немцы здесь явным образом потерпели поражение».

Обозленные своими неудачами, отступающие фашисты вели себя все разнузданнее и бесчеловечнее. В газетах все чаще появлялись фотографические снимки — документы о зверствах фашистов. Шура не мог смотреть на эти страницы газет: взглянет на одно лишь мгновение и стыдливо отвернется. Не мог видеть надругательства над человеком, чудовищно бесстыдное превращение прекрасного, самого святого, что только существует на земле, в нечто садистически жуткое, изуверски кошмарное. И Шура

думал: «Если бы так случилось, что меня замучили фашисты, я бы не хотел, чтоб мое тело выставили на всеобщее обозрение в таком виде». Шура целомудренно отворачивался от такого рода картин.

Но он не мог оторвать глаз от снимка замученной немцами девушки, опубликованного в «Правде» 27 января 1942 года, жадно смотрел на него и долго не мог отойти от стены в цехе на заводе, где газета была наклеена. Было что-то и страшное и прекрасное в распростертой на снегу девушке с вытянутой по-лебединому шеей (на которой остался еще примерзший к ней куцый обрывок веревки), с коротко остриженными волосами, струящимися вверх как черное пламя, где каждый локон, стоящий отдельно, рвется вверх, как жгучее жало огня. Прекрасно лицо, раз навсегда сохранившее выражение непокоренной вольности, гордой свободы. Девушка повержена на землю, умерщвлена, но во всей ее позе, в выражении лица — что-то героическое, бессмертное...

Шура смотрел и не мог отойти. В первые минуты он даже не замечал, что на этой же странице газеты напечатана статья, сопровождавшая снимок. Статья была озаглавлена «Таня», под нею подпись: «П. Лидов. Западный фронт».

Заметив наконец статью, написанную по горячим следам, когда еще не все подробности были известны, Шура почти мгновенно прочитал ее, перескакивая порою через строки, пропуская их, лишь бы скорее узнать самое главное:

«ТАНЯ»

В первых числах декабря 1941 года в Петрищеве, близ города Вереи, немцы казнили восемнадцатилетнюю комсомолку-москвичку, назвавшую себя Татьяной.

То было в дни наибольшей опасности для Москвы. Дачные места за Голицыном и Сходней стали местами боев. Москва отбирала добровольцев-смельчаков и посылала их через фронт для помощи партизанским отрядам в их борьбе с противником в тылу.

Вот тогда в Петрищеве кто-то перерезал все провода германского полевого телефона, а вскоре была уничтожена конюшня немецкой воинской части и в ней семнадцать лошадей. На следующий день партизан был пойман.

Из рассказов солдат петрищевские колхозники узнали обстоятельства поимки партизана. Он пробрался к важному военному объекту. Подойдя к объекту, человек сунул за пазуху наган, который держал в руке, достал из сумки бутылки с бензином, полил из нее и потом нагнулся, чтобы чиркнуть спичкой.

В этот момент часовой подкрался к нему и обхватил сзади руками. Партизану удалось оттолкнуть немца и выхватить револьвер, но выстрелить он не успел. Солдат выбил у него из рук оружие и поднял тревогу.

Партизан был отведен в избу, где жили офицеры, и тут только разглядели, что это девушка, совсем юная, высокая, стройная, с темными стриженными, зачесанными наверх волосами.

Хозяевам дома было приказано выйти в кухню, но все-таки они слышали, как офицер задавал Татьяне вопросы и как та быстро, без запинки отвечала: «нет», «не знаю», «не скажу», «нет»; и как потом в воздухе засвистели ремни, и как стегали они по телу.

Через несколько минут молоденький офицерик выскочил оттуда в кухню, уткнул голову в ладони и просидел так до конца допроса, зажмурив глаза и заткнув уши.

Хозяева насчитали двести ударов, но Татьяна не издала ни одного звука. А после опять отвечала: «нет», «не окажу», только голос ее звучал глуше, чем прежде.

После допроса Татьяну повели в избу Василия Александровича Кулика. На ней не было уже ни обуви, ни одежды. Она шла под конвоем в одной сорочке и трусиках, ступая по снегу босыми ногами.

Когда ее ввели в дом, хозяева при свете лампы увидели на лбу у нее большое иссиня-черное пятно и ссадины на ногах и руках. Руки девушки были связаны сзади веревкой. Губы ее были искусаны в кровь и вздулись. Наверно, она кусала их, когда побоями от нее хотели добиться признания.

Она села на лавку. Немецкий часовой стоял у двери. С ним был еще один солдат. Василий и Прасковья Кулик, лежа на печи, наблюдали за арестованной. Она сидела спокойно и неподвижно, потом попросила пить. Василий Кулик опустился с печи и подошел было к кадлушке с водой, но часовой оттолкнул его.

— Тоже хочешь палок? — злобно спросил он.

Солдаты, жившие в избе, окружили девушку и громко потешались над ней. Одни шпыняли ее кулаками, другие подносили к подбородку зажженные спички, а кто-то провел по ее спине пилой.

Натешившись, солдаты ушли спать. Часовой вскинул винтовку на изготовку и велел Татьяне подняться и выйти из дома. Он шел позади нее вдоль по улице, почти вплотную приставив штык к ее спине. Потом он крикнул: «Цурюк!» — и повел девушку в обратную сторону. Босая, в одном белье, ходила она по снегу до тех пор, пока ее мучитель сам не продрог и не решил, что пора вернуться под теплый кров.

Этот часовой караулил Татьяну с десяти вечера до двух часов ночи и через каждые полчаса — час выводил ее на улицу на 15- 20 минут. Наконец изверг сменился. На пост встал новый часовой. Несчастной разрешили прилечь на лавку.

Улучив минуту, Прасковья Кулик заговорила с Татьяной.

— Ты чья будешь? — спросила она.

— А вам зачем это?

— Сама-то откуда?

— Я из Москвы.

— Родители есть?

Девушка не ответила. Она пролежала до утра без движения, ничего не сказав более и даже не застонав, хотя ноги ее были отморожены и не могли не причинять боли.

Никто не знает, спала она в эту ночь или нет и о чем думала она, окруженная злыми врагами.

Поутру солдаты начали строить посреди деревни виселицу.

Прасковья снова заговорила с девушкой:

— Позавчера это ты была?

— Я... Немцы сгорели?

— Нет.

— Жаль. А что сгорело?

— Кони ихние сгорели. Сказывают, оружие сгорело...

В десять часов утра пришли офицеры. Старший из них по-русски опросил Татьяну:

— Скажите, кто вы?

Татьяна не ответила. Продолжение допроса хозяева дома не слышали — им велели выйти из комнаты и впустили обратно, когда допрос был уже окончен.

Татьяну одели, и хозяева помогли ей натягивать чулки на почерневшие ноги. На грудь Татьяне повесили отобранные у нее бутылки с бензином и доску с надписью:

«Партизан». Так ее вывели на площадь, где стояла виселица.

Место казни окружало десятеро конных с саблями наголо. Вокруг стояло больше сотни немецких солдат и несколько офицеров. Местным жителям было приказано собраться и присутствовать при казни, но их пришло немного, а некоторые, придя и постояв, потихоньку разошлись по домам, чтобы не быть свидетелями страшного зрелища.

Под опущенной с перекладины петлей были поставлены один на другой два ящика из-под макарон. Татьяну приподняли, поставили на ящик и накинули на шею петлю. Один из офицеров стал наводить на виселицу объектив своего кодака: немцы — любители фотографировать казни и экзекуции. Комендант сделал солдатам, выполнявшим обязанности палачей, знак обождать.

Татьяна воспользовалась этим и, обращаясь к колхозникам и колхозницам, крикнула громким и чистым голосом:

— Эй, товарищи! Что смотрите невесело? Будьте смелы, боритесь, бейте немцев, жгите, травите!

Стоявший рядом немец замахнулся и хотел то ли ударить ее, то ли зажать ей рот, но она оттолкнула его руку и продолжала:

— Мне не страшно умирать, товарищи! Это счастье — умереть за свой народ...

Фотограф снял виселицу издали и вблизи и теперь пристраивался, чтобы сфотографировать ее сбоку. Палачи беспокойно поглядывали на коменданта, и тот крикнул фотографу:

— Скорее же!

Тогда Татьяна повернулась в сторону коменданта и, обращаясь к нему и к немецким солдатам, продолжала:

— Вы меня сейчас повесите, но я не одна. Нас двести миллионов, всех не перевешаете. Вам отомстят за меня. Солдаты! Пока не поздно, сдавайтесь в плен, все равно победа будет за нами. Вам отомстят за меня...

Русские люди, стоявшие на площади, плакали. Иные отвернулись и стояли спиной, чтобы не видеть того, что должно было сейчас произойти.

Палач подтянул веревку, и петля сдавила Танино горло. Но она обеими руками раздвинула петлю, приподнялась на носках и крикнула, напрягая все силы:

— Прощайте, товарищи! Боритесь, не бойтесь!

Палач уперся кованым башмаком в ящик, и ящик заскрипел по скользкому, утопанному снегу. Верхний ящик свалился вниз и гулко стукнулся оземь. Толпа отшатнулась. Раздался и замер чей-то вопль, и эхо повторило его на опушке леса...

Она умерла во вражьем плену, на фашистской дыбе, ни единым звуком не выдав своих страданий, не выдав своих товарищей. Она приняла мученическую смерть как героиня, как дочь великого народа, которого никому и никогда не сломить! Память о ней да живет вечно!

...В ночь под Новый гад перепившиеся фашисты окружили виселицу, стащили с повешенной одежду и гнусно надругались над ее телом. Оно висело посреди деревни еще день, исколотое и изрезанное кинжалами, а вечером 1 января фашисты распорядились спилить виселицу. Староста кликнул людей, и они выдолбили в мерзлой земле яму в стороне от деревни.

Таню похоронили без почестей, за деревней, под плакучей березой, и вьюга завяла могильный холмик. А вскоре пришли те, для кого Таня в темные декабрьские ночи грудью пробивала дорогу на запад.

Остановившись для привала, бойцы придут сюда, чтобы до земли поклониться ее праху и сказать ей душевное русское спасибо. И отцу с матерью, породившим на свет и вырастившим героиню; и учителям, воспитавшим ее, и товарищам, закалившим ее дух. И немеркнущая слава разнесется о ней по всей советской земле, и миллионы людей будут с любовью думать о далекой заснеженной могилке...

П. Лидов

Западный фронт, 26 января».

Дома Любовь Тимофеевна спросила Шуру:

— Ты читал «Правду»? Там какая-то статья, я слышала разговор в трамвае.

— Да, — ответил Шура.

— О какой-то партизанке?

— Ее звали Таней...

«Почему она назвалась Таней?»- подумал Шура и вспомнил, что когда-то Зоя

восхищалась украинской партизанкой Татьяной Саломахой, замученной во время гражданской войны, прочитав о ее подвиге в каком-то журнальном очерке.

Перед сном Любовь Тимофеевна включила радио, чтобы прослушать последние известия. Диктор объявил: «Передаем статью военного корреспондента «Таня», напечатанную в «Правде» сегодня, двадцать седьмого января».

— Мама! — сказал Шура. — Можно, я выключу? Хочется спать — завтра рано вставать.

Когда стало тихо и свет был погашен, Шура натянул одеяло себе на голову и заткнул рот, как кляпом, скомканным углом простыни, чтобы не закричать от ужаса, от душевной боли, от нестерпимой тоски по его погибшей, замученной сестре.